ШЕДЕВРЫ В ОДНОМ ТОМЕ

ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ

ТОМАС МАНН

Томас Манн

Иосиф и его братья

«Издательство АСТ»
«ФТМ»
1943

УДК 821.112.2
ББК 84 (4Гем)

Манн Т.

Иосиф и его братья / Т. Манн — «Издательство АСТ», «ФТМ», 1943

ISBN 978-5-17-065485-7

В томе представлено известное произведение классика немецкой литературы XX века Томаса Манна.

УДК 821.112.2
ББК 84 (4Гем)

ISBN 978-5-17-065485-7

© Манн Т., 1943
© Издательство АСТ, 1943
© ФТМ, 1943

Содержание

Пролог сошествие в ад 6
Былое Иакова 27
Раздел первый 27
Иштар 27
Слава и действительность 28
Отец 30
Некто Иевше 32
Доносчик 35
Имя 40
О дурацкой земле египетской 43
Испытание 46
О масле, о вине и о смокве 48
Двуголосная песнь 51
Раздел второй 55
Лунная грамматика 55
Кто был Иаков 56
Елифаз 60
Вознесение главы 63
Исав 65
Раздел третий 69
Девочка 69
Бесет 70
Отповедь 71
Договор 73
Иаков живет у Шекема 74
Сбор винограда 75
Условие 77
Похищение 79
Подражание 80
Побоище 81
Раздел четвертый 84
Древнее блеянье 84
Красный 85
Конец ознакомительного фрагмента. 89

Томас Манн
Иосиф и его братья

© S. Fischer Verlag AG, Berlin, 1933
© S. Fischer Verlag AG, Berlin, 1934
© Bermann-Fischer Verlag GmbH, Wien, 1936
© Bermann-Fischer Verlag AB, Stockholm, 1943
© Katia Mann, 1967
© Перевод. С. Апт, 2010
© Издание на русском языке AST Publishers, 2010

* * *

Пролог сошествие в ад

1

Прошлое – это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным?

Так будет вернее даже в том случае и, может быть, как раз в том случае, если речь идет о прошлом всего только человека, о том загадочном бытии, в которое входит и наша собственная, полная естественных радостей и сверхъестественных горестей жизнь, о бытии, тайна которого, являясь, что вполне понятно, альфой и омегой всех наших речей и вопросов, делает нашу речь такой пылкой и сбивчивой, а наши вопросы такими настойчивыми. Ведь чем глубже тут копнешь, чем дальше проберешься, чем ниже опустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы, что они снова и снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные глубины времени мы ни погружали его. Да, именно «снова и снова»; ибо то, что не поддается исследованию, словно бы подтрунивает над нашей исследовательской неуемностью, приманивая нас к мнимым рубежам и вехам, за которыми, как только до них доберешься, сразу же открываются новые дали прошлого. Вот так же порой не можешь остановиться, шагая по берегу моря, потому что за каждой песчаной косой, к которой ты держал путь, тебя влекут к себе новые далекие мысы.

Поэтому практически начало истории той или иной людской совокупности, народности или семьи единоверцев определяется условной отправной точкой, и хотя нам отлично известно, что глубины колодца так не измерить, наши воспоминания останавливаются на подобном первоистоке, довольствуясь какими-то определенными, национальными и личными, историческими пределами.

Юный Иосиф, к примеру, сын Иакова и миловидной, так рано ушедшей на Запад Рахили, Иосиф, что жил в ту пору, когда на вавилонском престоле сидел весьма любезный сердцу Бел-Мардука коссеянин Куригальзу, властелин четырех стран, царь Шумера и Аккада, правитель строгий и блестящий, носивший бороду, завитки которой были так искусно уложены, что походили на умело выстроенный отряд щитоносцев; а в Фивах, в преисподней, которую Иосиф привык называть «Мицраим» или еще «Кеме, Черная», на горизонте своего дворца, к восторгу ослепленных сынов пустыни, сиял его святейшество добрый бог, третий носитель имени «Амундоволен», телесный сын Солнца; когда благодаря могуществу своих богов возрастал Ассур, а по большой приморской дороге, что вела от Газы к перевалам Кедровых гор, между двором фараона и дворами Двуречья, то и дело ходили царские караваны с дарами вежливости – лазуритом и чеканным золотом; когда в городах амореев, в Бет-Шане, Аялоне, Та'Анеке, Урусалиме служили Аштарти, когда в Сихеме и в Бет-Лахаме звучал семидневный плач о растерзанном Истинном Сыне, а в Гебале, городе Книги, молились Элу, не нуждавшемуся ни в храме, ни в обрядах; итак, Иосиф, что жил в округе Кенана, в земле, которая по-египетски называлась Верхнее Ретену, неподалеку от Хеврона, в отцовском стойбище, осененном теребинтами и вечнозелеными скальными дубами, этот общеизвестно приятный юноша, унаследовавший, к слову сказать, приятность от матери, ибо та была прекрасна, как луна, когда она достигает полноты, и как звезда Иштар, когда она тихо плывет по ясному небу, но, кроме того, получивший от отца недюжинные умственные способности, благодаря которым он даже превзошел в известном смысле отца, – Иосиф, стало быть, в пятый и шестой раз называем мы это имя, и называем его с удовольствием: в имени есть что-то таинственное, и нам

кажется, что, владея именем, мы приобретаем заклинательскую власть над самим этим мальчиком, канувшим ныне в глубины времени, но когда-то таким словоохотливым и живым, – так вот, для Иосифа, например, все на свете, то есть все, что касалось лично его, началось в южновавилонском городе Уру, который он на своем языке называл «Ур Кашдим», что значит «Ур Халдейский».

Оттуда в далеком прошлом – Иосиф не всегда мог толком сказать, как давно это было, – отправился в путь один пытливый и беспокойный искатель; взяв с собой жену, которую он из нежности, по-видимому, любил называть сестрою, а также других домочадцев, этот человек, по примеру божества Ура, Луны, пустился в странствия, поскольку такое решение показалось ему самым верным, наиболее сообразным с его неблагополучным, тревожным и, пожалуй, даже мучительным положением. Его уход, явившийся, несомненно, знаком недовольства и несогласия, был связан с некими строениями, запавшими ему в душу каким-то обидным образом, которые были, если не воздвигнуты, то, во всяком случае, обновлены и непомерно возвышены тогдашним царем и Нимродом тех мест, радевшим, как втайне был убежден пращур из Ура, не столько о вящей славе божественных светил, которым эти постройки были посвящены, сколько о том, чтобы воспрепятствовать рассеянию своих подданных и вознести к небесам знаки своей двойной – Нимрода и властелина земного – власти, власти, из-под которой предок из Ура как раз и ушел, ибо рассеялся, пустившись вместе со своими близкими куда глаза глядят. Предания, дошедшие до Иосифа, не вполне сходились в вопросе о том, что именно вызвало гнев недовольного странника: громадный ли храм бога Сина, имя которого, звучавшее в названии страны Синеар, слышалось также в более привычных словах, например, в наименовании горы Синай; или, может быть, само капище Солнца, Эсагила, огромный Мардуков храм в Вавилоне, достигавший, по воле Нимрода, неба своей вершиной и хорошо известный Иосифу по устным описаниям. Этому искателю претило, конечно, и многое другое, начиная от нимродовского могущества вообще и кончая отдельными обычаями, которые другим представлялись священными и незыблемыми, а его душу все больше и больше наполняли сомнением; а так как с душою, полной сомнений, не сидится на месте, то он и тронулся в путь.

Он прибыл в Харран, город Луны на Севере, город Дороги в земле Нахараин, где провел много лет и собирал души тех, кто вступал в близкое родство с его приверженцами. Однако родство это почти ничего, кроме беспокойства, не приносило, – беспокойства души, которое, хоть и выражалось в непоседливости тела, все-таки не имело ничего общего с обычным скитальческим легкомыслием и бродяжнической подвижностью, а было, скорее, изнурительной неугомонностью избранника, в чьей крови только-только завязывались дальнейшие судьбы, между подавляющей значительностью которых и снедавшей его тревогой существовало, должно быть, какое-то точное и таинственное соответствие. Поэтому-то Харран, куда еще простиралась власть Нимрода, и в самом деле оказался всего только «городом Дороги», то есть местом промежуточной остановки, с которого этот подражатель Луны вскоре опять снялся, взяв с собой Сару, свою сестру во браке, и всех своих родных, и их и свое имущество, чтобы в качестве их вождя и махди продолжать свою хиджру к неведомой цели.

Так он пришел на Запад, к амореям, что населяли Кенану, где тогда правили сыны Хатти, пересек эту землю в несколько переходов и продвинулся далеко на юг, под другое Солнце, в Страну Ила, где вода бежит вспять, не так, как воды рек Нахарины, и где по течению плывешь на север; где косный от старости народ поклонялся своим мертвецам и где беспокойному урскому страннику нечего было искать или добиваться. Он вернулся на Запад, то есть в край, лежащий между Страной Ила и Нимродовым царством, и, поладив с тамошними жителями, обрел относительную оседлость на юге этого края, неподалеку от пустыни, в гористой местности, бедной пашнями, но зато богатой пастбищами для его коз и овец.

Предание утверждает, будто его бог, бог, над чьим образом трудился его дух, высочайший среди богов, на безраздельное служение которому подвигали его любовь и гордость, бог вечно-

сти, которому он никак не находил достойного имени, а потому соотнес с ним множественное число и называл его на пробу Элохим, то есть божество, – предание утверждает, будто Элохим дал ему некие далеко идущие, но вместе с тем и вполне определенные обещания, в том смысле, что он, странник из Ура, должен был стать народом, многочисленным, как песок и звезды, и благословением всем народам, а земля, где покамест он жил чужестранцем и куда привел его из Халдеи Элохим, должна была целиком и навеки перейти в его и его потомков владение, причем бог богов поименно перечислил нынешних владельцев этой земли, народы, «врата» которых должны были принадлежать потомкам человека из Ура, то есть которым бог, заботясь об урском страннике и его семени, назначил рабство самым недвусмысленным образом. Эти сведения нужно принять с осторожностью или, во всяком случае, правильно понять. Перед нами позднейшие нарочитые вставки, и задача их – узаконить политические отношения, сложившиеся только благодаря войне, ссылкой на давнишний замысел бога. В действительности нрав этого лунного странника был совсем не таков, чтобы от кого-либо получать или у кого-либо вымогать политические обещания. Нет никаких доказательств, что, покидая родину, он уже заранее облюбовал для себя страну амурреев; а то, что он в виде опыта посетил также страну могил и курносой девы-львицы, говорит, скорее, как раз о противном. И если сперва он покинул могучее государство Нимрода, а потом поспешил уйти из многославного царства двухвенцового владыки оазисов и вернулся оттуда на Запад, то есть в страну, обреченную из-за своей раздробленной государственности на политическое убожество, то это отнюдь не свидетельствует о его пристрастии к имперскому величию и о его склонности к политическим прозрениям. Силой, заставившей его сняться с места, была тревога духовная, забота о боге, и если он сподоблялся каких-то обетований, в чем сомневаться непозволительно, то относились они к распространению того нового и особого восприятия бога, которому он с самого начала и старался приобрести сторонников и радетелей. Он страдал и, сопоставляя меру своего внутреннего беспокойства с мерой его у огромного большинства людей, заключал, что его страдания служат будущему. Не напрасна, говорил ему новооткрытый бог, твоя мука, твоя тревога. Она оплодотворит множество душ, родит себе стольких приверженцев, сколько песка на дне морском, и повлечет за собой великое множество событий, зародыш которых в ней заключен, – одним словом, ты будешь благословением. Благословением? Вряд ли это слово верно передает смысл того, что предстало ему в видении и что соответствовало его душевному складу, его ощущению самого себя. В слове «благословение» есть та оценка, которая не подходит для деятельности таких натур, как он, людей внутренне беспокойных и непоседливых, чьи новые представления о боге призваны определить будущее. Жизнь тех, с кого начинается та или иная история, очень и очень редко бывает чистым и несомненным «благословением», и совсем не это нашептывает им их самолюбие. «И будешь судьбою» – вот более четкий и более верный перевод слова обета, на каком бы языке оно ни было сказано; а уж означает ли эта судьба благословение или нет, это вопрос другой, вопрос, второстепенность которого явствует из того, что на него всегда и без всяких исключений можно ответить по-разному, хотя на него отвечали, конечно, утвердительно члены той возраставшей физически и духовно семьи, которая признавала бога, выведшего из Халдеи урского странника, истинным Баалом и Адду круговорота, семьи, образование которой Иосиф считал началом своей собственной, духовной и физической жизни.

2

Иногда он даже считал лунного странника своим прадедом, что, однако, решительно выходит за пределы возможного. Да он и сам отлично знал из всяческих наставлений, что все это дела более давние. Не такие, однако, давние, чтобы тот владыка земной, чьи пограничные, со знаками зодиака столпы оставил позади себя странник из Ура, был и в самом деле Ним-

родом, первым царем на земле, породившим синеарского Бела. Судя по таблицам, это был законодатель Хаммурагаш, обновивший упомянутые города Луны и Солнца, и если юный Иосиф отождествлял его с древнейшим Нимродом, то это была игра мыслей, которая придавала Иосифу известную прелесть, но нам совсем не к лицу. Точно так же он порой путал урского странника с дедом своего отца, носившим то же или почти то же имя. Между мальчиком Иосифом и странствием его духовного и физического предшественника был, согласно времяисчислительным выкладкам, отнюдь не чуждым ни его эпохе, ни его культуре, промежуток поколений в двадцать, то есть примерно в шестьсот вавилонских солнечных лет – такой же, как между нами и готическим средневековьем – такой же и все-таки не такой же.

Хотя время по звездам мы отсчитываем в точности так же, как там и тогда, то есть как отсчитывали его задолго до урского странника, и хотя мы, в свою очередь, передадим этот счет самым далеким нашим потомкам, значение, вес и насыщенность земного времени не бывают одинаковы всегда и везде; у времени нет постоянной меры даже при всей халдейской объективности его измерения; шестьсот лет тогда и под тем небом представляли собой нечто иное, чем шестьсот лет в нашей поздней истории; это была полоса более спокойная, более тихая, более ровная; время было менее деятельно, в ходе его не так сильно, не так резко менялись вещи и мир, – хотя, конечно, за эти двадцать человеческих веков оно произвело очень существенные изменения и перевороты, даже перевороты в природе, изменившие земную поверхность в поле зрения Иосифа, как то известно нам и было известно ему. В самом деле, куда девались к его времени Гоморра и резиденция Лота, человека из Харрана, вступившего в близкое родство с урским искателем, – Содом, куда девались эти сластолюбивые города? Щелочное, свинцово-серое озеро разливалось там, где процветало их беззаконие, ибо на местность эту обрушился такой страшный, такой на вид всегубительный ливень смолы и серы, что дочери Лота, вовремя с ним бежавшие, те самые, которых он хотел выдать похотливым содомлянам взамен неких высоких гостей, – что они, вообразив, будто кроме них, не осталось людей на земле, в женской своей заботе о продолжении рода человеческого совокупились с собственным отцом.

Вот, значит, какие зримые преобразования эти века все же произвели. Бывали времена благословенные и недобрые, изобилие и недород, бушевали войны, менялись правители, появлялись новые боги. И все-таки в целом то время было консервативней, чем наше, – образом жизни, складом ума и привычками Иосиф куда меньше отличался от своего предка из Ура, чем мы от рыцарей крестовых походов; воспоминания, основанные на устных, передававшихся из поколения в поколение рассказах, были непосредственнее, интимнее и вольнее, а время однороднее и потому обозримее; короче говоря, юного Иосифа нельзя было осуждать за то, что он мечтательно уплотнял время и порой, в часы меньшей собранности ума, например, ночью, при лунном свете, считал урского странника дедом своего отца – причем этой неточностью дело даже не ограничивалось. Вероятно, добавим мы теперь, этот пращур вовсе не был в действительности выходцем из Ура. Вероятно (днем, в часы ясности, это казалось вероятным и юному Иосифу), этот урский предок вообще не видел лунного города Уру, ибо ушел оттуда на север, в Харран, что в земле Нахарин, еще его отец и, значит, тот, кто ошибочно назван выходцем из Ура, отправился в землю аморреев, как то указал ему владыка богов, всего только из Харрана, вместе с тем осевшим позднее в Содоме Лотом, которого родовое предание мечтательно объявило сыном брата урского странника на том основании, что Лот был «сыном Харрана». Разумеется, содомлянин Лот был сыном Харрана, коль скоро он, как и урский предок, там родился. Но если Харран, город Дороги, превращали в брата, а прозелита Лота соответственно в племянника урского предка, то это была, конечно, чистейшая игра мечтательного воображения, невозможная при дневном свете, но способная объяснить, почему юному Иосифу так легко давались эти замены.

Он делал их с такой же спокойной совестью, с какой, например, синеарские звездочеты и жрецы, соблюдавшие в своих гаданьях правило равнозначности светил, заменяли одно небесное тело другим, например, Солнце, когда оно заходило, планетой Нинурту, влияющей на государственные и военные дела, или планету Мардук созвездием Скорпиона, называя в таких случаях это созвездие просто «Мардуком», а Нинурту «Солнцем», он делал это ради практического удобства, ибо его желание установить начало событий, к которым он себя приобщал, встречало ту же помеху, с какой всегда сталкивается такое стремление: помеха состоит в том, что у каждого есть отец, что ни одна вещь на свете не появилась сама собой из ничего, а любая от чего-то произошла и обращена назад, к своим далеким первопричинам, к пучинам и глубинам колодца прошлого. Иосиф, конечно, знал, что и у отца урского странника, у истинного, стало быть, выходца из Уру, тоже наверняка был отец, с которого, значит, в сущности и начиналась его, странника, личная история, а у того отца – свой отец, и так далее, хотя бы вплоть до Иавала, сына Ады, до праотца живущих в шатрах и разводящих скот.

Но ведь уход из Синеара был и для Иосифа только условным и частным началом, и благодаря песням и учению он прекрасно представлял себе, какие общие события этому началу предшествовали и через какое множество историй восходили они к Адапе или Адаме, первому человеку, который, согласно одной лживой вавилонской поэме, – куски ее Иосиф знал даже наизусть, – был сыном Эи, бога мудрости и водных глубин, и служил богам пекарем и виночерпием, но о котором у Иосифа имелись более священные и более точные сведения; к саду на Востоке, где стояли два дерева – древо жизни и нечистое древо смерти; к самому началу, когда мир, небо и землю сотворило из тоху и боху Слово, что носилось над водою и было богом. Но разве и это не было только условным и частным началом вещей? Ведь уже тогда восхищенно и удивленно взирали на творца разные существа: сыны бога, звездные ангелы, о которых Иосиф знал много любопытных и даже веселых историй, и гнусные демоны. Они остались, значит, еще от той предыдущей вечности, что, одряхлев, превратилась в неотесанное тоху и боху, – но была ли она началом начал?

Тут у юного Иосифа кружилась уже голова, в точности как у нас, когда мы наклоняемся над колодцем, и, несмотря на маленькие неподобающие нам неточности, которые позволяла себе его красивая и хорошенькая головка, мы чувствуем, как он близок нам и современен перед лицом той бездонной преисподней прошлого, куда и он, далекий, уже заглядывал. Он был, нам кажется, таким же человеком, как мы, и, несмотря на раннее свое время, отстоял от начал человечества (не говоря уж о началах вещей вообще) математически так же далеко, как мы, потому что начала эти на поверку уходят в темную пасть колодца, и в своих изысканиях мы должны либо отправляться от каких-то условных и мнимых начал, путая их с началом действительным в точности так же, как путал Иосиф урского странника, с одной стороны, с отцом этого предка, а с другой – со своим собственным прадедом, либо брести назад от одного мыса к другому в бесконечную даль.

3

Мы упомянули, к примеру, что Иосиф знал наизусть красивые вавилонские стихи из одной большой, запечатленной письмом поэмы, исполненной лживой мудрости. Он слыхал их от путников, которые заворачивали в Хеврон и с которыми он со свойственной ему общительностью обычно беседовал, и от своего домашнего учителя, вольноотпущенника отца, старого Елиезера – не следует путать его (как порой случалось путать Иосифу и даже самому этому старику, к его удовольствию), не следует путать его с Елиезером, старшим рабом урского странника, тем, что сватал некогда у колодца Исааку дочь Вафуила. Так вот, мы знаем эти стихи и сказания; у нас есть таблицы с их текстами, найденные в Ниниве, во дворце Ашшурбанапала, царя вселенной, сына Ассархаддона, сына Синахериба, и иные из этих глиняных,

серо-желтых скрижалей, покрытых затейливой клинописью, представляют собой первоисточник предания о великом потопе, которым господь истребил первых человеков за их растленность, потопе, игравшем и в личной истории Иосифа такую важную роль. Но если говорить правду, то слово «первоисточник», особенно его первая, наиболее яркая часть, выбрана не совсем точно; ведь поврежденные эти таблички являются копиями, которые всего за каких-нибудь шестьсот лет до нашей эры Ашшурбанапал – владыка, весьма благорасположенный к письменности и к закреплению мыслей, «премудрый», как выражались вавилоняне, и усердный собиратель богатств ума, – велел изготовить ученым рабам, а подлинник был на добрую тысячу лет старше и восходил, следовательно, ко временам законодателя и лунного странника, отчего прочесть и понять его писцам Ашшурбанапала было примерно так же легко или так же трудно, как нам, ныне здравствующим, рукопись из времен Карла Великого. Неуклюжие, давным-давно устаревшие письмена этой иератической грамоты было, конечно, трудно разобрать уже и тогда, и за то, что смысл их передан безупречно, поручиться нельзя.

Однако и этот подлинник тоже, собственно, не был подлинником, настоящим подлинником, если присмотреться получше. Он и сам уже был списком с документа бог весть какой давности, который, хоть мы и не знаем толком времени его изготовления, можно было бы наконец признать истинным подлинником, если бы и тот, в свою очередь, не был снабжен примечаниями и приписками, сделанными рукой писца для лучшего понимания опять-таки какого-то сверхдревнего текста, но способствовавшими, вероятно, напротив, обновительному искажению его мудрости, – мы могли бы продолжить эту цепь, не смей мы надеяться, что нашим слушателям уже и так ясно, что мы имеем в виду, когда говорим о далеких мысах и о жерле колодца.

У жителей земли Египетской это понятие обозначалось особым выражением, которое Иосиф знал и при случае употреблял. Хотя дом Иакова был закрыт для хамитов из-за их надругавшегося над своим отцом и сплошь почерневшего предка и еще потому, что к обычаям Мицраима Иаков относился с религиозным неодобрением, мальчик по своему любопытству все-таки часто общался с египтянами в городах, в Кириаф-Арбе, в Сихеме, и подцепил кое-какие словечки их языка, в котором позднее ему довелось так блестяще усовершенствоваться. Так вот, о делах неопределенной, но очень большой, – короче, незапамятной – давности египтяне говорили: «Это случилось в дни Сета» – так звали одного из их богов, коварного брата их Мардуга или Таммуза, которого они именовали Усири, страдальцем; прозвище это объяснялось тем, что Сет, во-первых, заманил брата в гробовой ларь и бросил в реку, а потом, как лютый зверь, растерзал его на куски и убил окончательно, после чего Усир, жертва Сета, стал повелителем мертвых и царем вечности в преисподней… «В дни Сета» – людям Мицраима часто доводилось пользоваться этим речением, ибо все их дела уходили своим началом в непроглядный мрак той поры.

На краю Ливийской пустыни, близ Мемфиса, лежал, вытянув перед собой огромные кошачьи лапы, высеченный из скалы великан, пятидесятитрехметровой высоты полулев-полудева, с женскими грудями, с козлиной бородой и вздыбившимся у головной повязки удавом, и нос этого каменного исполина был притуплен временем. Он лежал там всегда, и всегда его нос был источен временем, и никто не помнил поры, когда нос его еще не был так туп или когда этого сфинкса вообще не существовало. Тутмос Четвертый, золотой коршун и могучий бык, любимец богини Правды, царь Верхнего и Нижнего Египта, из той же восемнадцатой династии, что и Амун-доволен, велел во исполнение некоего наказа, полученного им во сне перед своим восшествием на престол, вырыть это исполинское изваяние из песка пустыни, которым его уже почти совсем занесло. Но уже за полторы тысячи лет до того царь Хуфу, из четвертой династии, выстроивший себе поблизости гробницу в виде огромной пирамиды и приносивший сфинксу жертвы, застал его весьма обветшалым, а о временах, когда его вообще не было или когда хотя бы нос его был цел, и вовсе никто не помнил.

Не сам ли Сет высек из камня этого чудо-зверя, которого позднее считали изображением солнечного бога и называли «Гор на светозарной горе»? Это вполне возможно, ибо Сет, как и жертва Усири, был, вероятно, не всегда богом: когда-то он, по-видимому, был человеком, и притом царем земли Египетской. В часто повторявшемся уверении, что первую египетскую династию основал примерно за шесть тысяч лет до нашей эры некто Менес или Гор-Мени, а дотоле была «преддинастическая эпоха»; что этот Мени впервые объединил две страны, нижнюю и верхнюю, папирус и лилию, красный и белый венцы, и был первым царем Египта, история которого и начинается с его правления, – во всем этом утверждении нет, вероятно, ни одного слова правды, и, если вглядеться пристальнее, то первоправитель Мени – это просто-напросто завеса времени. Геродоту египетские жрецы сообщили, что письменная история их страны началась за 11 340 лет до его эры, а это составляет для нас примерно четырнадцать тысяч лет и делает царя Мени совсем не такой первобытной фигурой. История Египта распадается на периоды разлада и упадка и на периоды могущества и великолепия, на эпохи безвластья и многовластья и на эпохи величественного единоначалия, и становится все яснее, что уклады эти слишком часто чередовались, чтобы царь Мени мог быть и в самом деле первым единодержцем. Разобщенности, которую он исцелил, предшествовало более раннее единство, а единству более ранняя разобщенность; сколько раз нужно в данном случае употребить слова «более ранний», «опять-таки» и «предшествовать» – сказать нельзя; сказать можно только, что впервые единство царило при божественных династиях, отпрысками которых, по всей вероятности, и были Сет и Усири, и что история об убийстве и растерзанье Усира, жертвы, мифически намекала на борьбу за престол, при которой дело не обходилось без коварства и преступлений. Это до одухотворенности, до призрачности далекое прошлое, ставшее уже мифом и богословием, сделалось предметом почтительного поклонения, приняв образ определенных животных, нескольких соколов и шакалов, которых хранили в древних столицах стран, Буто и Энхабе, животных, в которых будто бы таинственным образом продолжали жить души тех первобытных существ.

4

«В дни Сета» – это выражение нравилось юному Иосифу, и мы разделяем удовольствие, которое оно доставляло ему; нам тоже, как и людям земли Египетской, оно кажется очень удобным и уместным поистине во всех случаях: ведь на какие дела человеческие ни кинешь взгляд, всегда оно так и просится на язык, и все на свете, если вглядеться как следует, уходит своим началом действительно «в дни Сета».

В тот момент, когда начинается наша повесть, – момент этот выбран, правда, весьма произвольно, но ведь надо же с чего-то начать и что-то опустить, а не то нам самим бы пришлось начать «со дней Сета», – итак, в ту пору Иосиф уже пас скот со своими братьями, хотя эта обязанность была возложена на него в щадящем объеме: когда ему хотелось, он пас вместе с ними на выгонах у Хеврона овец, коз и коров своего отца. Каков же был вид этих животных и чем отличались они от тех, которых пасем и содержим мы? Ровно ничем. То были такие же добрые и мирные твари, приученные в такой же мере, как ныне, и вся история разведения, скажем, крупного рогатого скота, ведущего свой род от диких буйволов, была во времена юного Иосифа уже такой древней, что просто смешно, говоря о подобных отрезках времени, употреблять слово «давно»: крупный рогатый скот был, как известно, приручен уже в самом начале той эпохи каменных орудий, которая предшествовала железному и бронзовому векам и от которой амуррейский мальчик Иосиф, получивший вавилонско-египетское образование, отстоял почти так же далеко, как мы, ныне здравствующие, – разница тут ничтожна.

Если же мы спросим о дикой овце, приручением которой была «некогда» выведена Иаковлева и наша порода овец, то узнаем, что дикая овца полностью вымерла. Ее «давно» не суще-

ствует вообще. Она стала домашним животным не иначе как в дни Сета, и приручение лошади, осла, козы и свиньи, предком которой был растерзавший овчара Таммуза дикий кабан, относится к той же туманной дате. Наши исторические записи охватывают около семи тысяч лет, и за это время, во всяком случае, ни одно дикое животное не было одомашнено. Это лежит за пределами человеческой памяти.

Тогда же произошло и превращение диких и тощих трав в благородные хлебные злаки. Наша ботаника, к величайшей своей досаде, не в состоянии возвести наши зерновые растения, которыми питался также Иосиф, – ячмень, овес, рожь, кукурузу и пшеницу, – к их дикорастущим предкам, и ни один народ не может похвастаться, что он первым стал сеять и разводить эти злаки. Нам известно, что в каменном веке в Европе было пять разновидностей пшеницы и три разновидности ячменя. Что же касается открытия виноградарства, достижения беспримерного, если смотреть на это как на завоевание человека, отвлекаясь от всяких других возможных по этому поводу суждений, то предание, несущее отголосок головокружительных глубин времени, приписывает эту заслугу Ною, пережившему потоп праведнику, тому самому, кого вавилоняне называли Утнапиштим и еще Атрахасис, премудрый, и кто поведал о началах вещей позднему своему потомку Гильгамешу, герою упомянутых клинописных поэм. Этот праведник, как Иосиф тоже знал, прежде всего насадил виноградники, – что, кстати, казалось Иосифу не таким уж праведным делом. Неужели тот не мог посадить что-нибудь действительно полезное? Смоковницы, например, или маслины? Так нет же, он вырастил сперва виноград и опьянел от вина, и когда он был пьян, над ним надругались и оскопили его. Но если Иосиф думал, что чудовищный этот случай произошел не очень давно и что виноградарством люди начали заниматься всего за какой-нибудь десяток поколений до его «прадеда», то это было мечтательным заблуждением, благочестиво приближавшим невообразимую древность, – причем и эта древность, добавим мы с тихим изумлением, была, в свою очередь, уже настолько поздней, уже настолько далекой от начала рода человеческого, что могла родить премудрость, способную на такой подвиг цивилизации, как облагороженье дикой лозы.

Где истоки человеческой цивилизации? Каков ее возраст? Мы задаем этот вопрос, глядя на далекого Иосифа, чей уровень развития, если не считать маленьких мечтательных неточностей, вызывающих у нас дружелюбную улыбку, существенно уже не отличался от нашего. Но стоит только задать этот вопрос, как сразу же дразняще открываются все новые и новые мысы. Когда мы говорим о «древности», мы обычно имеем в виду греческо-римский мир, то есть мир сравнительно свежей новизны. Дойдя до так называемых «коренных» жителей Греции, пеласгов, мы видим, что острова, где они осели, были дотоле заселены настоящими коренными жителями, племенем, которое овладело морем еще раньше, чем финикияне, и, значит, финикияне как «первые морские разбойники» – это только очередная завеса, очередной мыс. Мало того, наука все увереннее предполагает, что эти «варвары» были колонистами с Атлантиды, затонувшего материка по ту сторону Геркулесовых столпов, который некогда соединял Европу и Америку. Но вот чтобы он был первой обитаемой областью земли, – это предположение настолько сомнительно, что граничит с невероятностью и лишь наводит на мысль, что начальная история цивилизации, а также история премудрого Ноя связана с какими-то гораздо более древними, намного раньше погибшими землями.

Это недостижимые мысы, которые можно только туманно обозначить упомянутым египетским выражением, и народы Востока поступали умно и благочестиво, считая зачинателями своей культуры богов. Красноватые люди Мицраима видели в страдальце Усири благодетеля, который первым обучил их земледелию и дал им законы и чья деятельность прервалась только из-за козней Сета, уподобившегося дикому кабану. Китайцы считали основателем своей державы императора-полубога по имени Фу-Хи, который будто бы ввел у них разведение крупного скота и обучил их прекрасному искусству письма. Для астрономии они тогда, в 2852 году до нашей эры, явно еще, по мнению этого высшего существа, не созрели, ибо, согласно их лето-

писям, эта наука была преподана им только тринадцать столетий спустя великим чужеземным императором Таи-Ко-Фоки, хотя синеарские жрецы-звездочеты разобрались в знаках зодиака, несомненно, уже за много веков до этого, и у нас есть даже сведения, что один из участников похода Александра Македонского в Вавилон послал Аристотелю нацарапанные на обожженной глине халдейские астрономические выкладки, которым сегодня было бы 4160 лет. Это вполне возможно; ведь очень вероятно, что наблюдением небесных светил и календарными вычислениями занимались уже в стране Атлантиде, исчезнувшей, по Солону, за девять тысяч лет до рождения этого ученого, и что, значит, уже за одиннадцать с половиной тысяч лет до нашей эры человек дорос до усвоения этих высоких искусств.

Что искусство письма не моложе, а, вероятно, значительно старше – ясно само собой. Мы упоминаем о нем потому, что Иосиф был особенно к нему привержен и, в отличие от всех своих братьев, рано стал в нем совершенствоваться, постигая, поначалу с помощью Елиезера, и вавилонскую, и финикийскую, и хеттскую грамоту. Он питал прямо-таки пристрастие, прямо-таки слабость к тому богу или, вернее, идолу, которого на Востоке называли Набу, писцом историй, а в Тире и Сидоне – Таутом и повсюду считали изобретателем знаков и летописцем древнейших событий, – к египетскому Тоту из Шмуна, письмоводителю богов и покровителю науки, чья должность почиталась там внизу больше всех других должностей, – к этому правдивому, умеренному и заботливому богу, то принимавшему облик седовласой обезьяны приятной наружности, то появлявшемуся с головой ибиса и, что было опять-таки во вкусе Иосифа, поддерживавшему самые нежные и торжественные отношения с главным светилом ночи. При Иакове, своем отце, юноша не смел и заикнуться об этой склонности, ибо тот сурово осуждал такое заигрывание с идолами, проявляя, пожалуй, большую строгость, чем даже некие высшие инстанции, ради которых он, собственно, и был так строг; ведь история Иосифа показывает, что они не очень-то или, во всяком случае, недолго обижались на него за такие маленькие отступления от дозволенного.

Что касается письма, то, намекая на туманность его происхождения, можно слегка изменить известный уже египетский оборот и сказать, что оно появилось во дни Тота. Изображения рукописного свитка имеются на самых древних египетских памятниках, и нам известен папирус, принадлежавший Гор-Сенди, царю второй тамошней династии, но уже тогда, шесть тысяч лет назад, считавшийся таким древним, что говорили, будто Сенди получил его в наследство от Сета. В царство Снофру и уже упомянутого Хуфу, сыновей Солнца четвертой династии, когда строились пирамиды в Гизехе, грамотность была распространена в низших слоях народа настолько, что ныне ведется изучение нехитрых надписей, нацарапанных рабочими на исполинских каменных глыбах. Однако в столь широкой распространенности знаний в такие далекие времена нет ничего удивительного, если вспомнить, что сообщали о возрасте письменной истории Египта жрецы.

Но уж если так несметны века запечатляемой знаками речи, то в каких веках отыщешь начало речи устной? Говорят, что древнейшим языком, праязыком, был индогерманский, индоевропейский язык, санскрит. Но можно не сомневаться, что этот «первоисток» выбран так же опрометчиво, как всякий другой, и что существовал опять-таки еще более древний язык, содержавший в себе корни не только арийских, но также семитских и хамитских наречий. Вероятно, на этом языке говорили на Атлантиде, очертания которой маячат последним, еще кое-как различимым мысом в тумане прошлого, но которая тоже вряд ли является самой первой родиной говорящего человека.

5

Некоторые находки заставляют специалистов-историков считать, что человек как биологический вид появился пятьсот тысяч лет назад. Это не такой уж большой срок, если, во-пер-

вых, иметь в виду, что, по данным нынешней науки, человек как животное является древнейшим млекопитающим и уже на поздней заре жизни, до того, как стал развиваться головной мозг, существовал на земле в различных зоологических личинах – в виде земноводных и пресмыкающихся; во-вторых, если представить себе, какое огромное нужно было время, чтобы тот полусогбенный, со сросшимися пальцами, потрясаемый проблесками зачаточного еще разума, чтобы тот похожий на сумчатое животное, бродящий, как во сне, зверь, каким, по-видимому, был человек до появления премудрого Утнапиштима-Ноя, изобрел стрелы и лук, научился пользоваться огнем, ковать метеорное железо, выращивать хлеб, разводить домашних животных и виноград, – одним словом, стал тем смышленым, умелым и во всех решающих отношениях современным существом, каким предстает перед нами человек уже на самых первых порах своей истории. Один саисский жрец истолковал Солону греческое предание о Фаэтоне в том смысле, что человечество было свидетелем какого-то отклонения вращающихся вокруг Земли небесных тел, следствием которого был опустошительный пожар на земле. И правда, становится все несомненнее, что смутные воспоминания человечества, бесформенные, но приобретавшие в мифах все новые и новые формы, восходят к катастрофам огромной древности, предание о которых, питаемое позднейшими и менее крупными событиями подобного рода, прижилось у разных народов и образовало ту самую череду мысов, те самые кулисы, что так влекут к себе и волнуют всякого, кто устремляется в глубь времен.

Упомянутые уже стихи, которые Иосиф заучил с чужих слов, излагали среди прочего историю великого потопа. Иосиф все равно узнал бы об этой истории, даже если бы и не познакомился с нею на вавилонском языке и в вавилонской передаче; она бытовала на его Западе вообще и в кругу его близких в частности, хотя в несколько другой форме и с другими подробностями, чем в Двуречье. Как раз во времена его юности она закреплялась у него дома в отличном от восточного изложенье, благодаря чему Иосиф прекрасно знал о тех днях, когда всякая плоть, не исключая и животных, неописуемо извратила свой путь, так что даже сама земля растлилась и, если сеяли пшеницу, плодила плевелы, а так как все это продолжалось вопреки предостережениям Ноя, то в конце концов господь и творец, чьи ангелы и те замарались подобными мерзостями, не выдержал и по истечении последней стодвадцатилетней отсрочки вынужден был, к собственному огорчению, обрушить на землю карающие хляби! И о том, как господь бог по величественному своему добродушию (которого ангелы отнюдь не разделяли) все-таки оставил для жизни спасительную лазейку в виде осмоленного ковчега, куда вошел Ной со своими животными, – об этом Иосиф знал тоже. Знал он и день, когда живые твари вошли в ковчег: то был десятый день месяца хешвана, а потоп начался в семнадцатый, в самую пору весеннего таяния снегов, когда засветло восходит звезда Сириус и прибывает вода в колодцах. Иосиф узнал эту дату от старика Елиезера. Но сколько прошло с тех пор годовщин? Об этом он не задумывался, об этом не задумывался и старик Елиезер, и тут-то начинаются всякие сокращения, смешения и смещения, которых так много в этом предании.

Одному небу известно, когда именно столь опустошительно разлился Евфрат, река и вообще-то довольно беспокойная и буйная, или столь глубоко, с таким вихрем и землетрясением, вторгся в сушу Персидский залив, чтобы эти события не скажем: породили, нет, но, во всяком случае, в последний раз освежили предание о потопе, оживили его ужасающей достоверностью и прослыли в последующих поколениях великим потопом. Возможно, что последнее бедствие такого рода случилось и в самом деле не так уж давно, и чем оно ближе, тем любопытней вопрос, удалось ли и как удалось поколению, испытавшему его на собственной шкуре, спутать это современное событие с преданием, с великим потопом. Да, удалось, но это не дает ни малейшего повода для удивления и не свидетельствует о недостатке ума. Главное было не в том, что какое-то событие прошлого повторилось, а в том, что оно произошло вот сейчас. А произойти сейчас оно могло потому, что условия, которые его вызвали, были налицо во всякое время. Во всякое время пути плоти были извращены или могли быть извращены

даже при самых благочестивых побуждениях; откуда людям знать, праведны или неправедны они перед богом, и не мерзко ли небожителям то, что кажется человеку праведным? Глупые человеки не знают бога и не знают приговора преисподней; во всякое время может иссякнуть долготерпение, начаться суд, тем более что их предостерег уже один мудрец и дока, который умел толковать знаменья и, благодаря хитроумной своей предусмотрительности, единственный из множества тысяч ускользает от гибели, но сперва доверяет земле скрижали своего знанья, как семена будущей мудрости, чтобы потом, когда вода схлынет, от этого письменного посева все пошло снова. Во всякое время – таков девиз этой тайны. У тайны этой нет времени; но форма вневременности – это Вот Сейчас и Вот Здесь.

Итак, потоп был у Евфрата, однако в Китае он тоже был. Там около 1300 года до нашей эры чудовищно разлилась река Хуанхэ, что, кстати сказать, дало повод искусственно изменить ее русло. Этот разлив был повторением потопа, случившегося на тысячу пятьдесят лет раньше, при пятом императоре, и Ноя этого потопа звали Яу. Но и то наводнение по времени отнюдь не было настоящим, великим, первым потопом, ибо память об этом событии-подлиннике сохранилась у самых различных народов; подобно тому как вавилонская поэма о потопе, которую знал Иосиф, представляла собой лишь список со все более и более древних подлинников, сама идея потопа восходит ко все более отдаленным прообразам, и последним, истинным ее прообразом люди – с наибольшим, по их мнению, основанием – считают погружение в морскую пучину земли Атлантиды; эта ужасная весть, считают они, проникла во все уголки земли, заселенной некогда выходцами с Атлантиды, и навсегда закрепилась в человеческой памяти изменчивым преданием. Однако это мнимый предел, промежуточный, а не конечный рубеж. По подсчетам халдеев, от великого потопа до начала первой исторической династии Двуречья прошло 39 180 лет. Следовательно, гибель Атлантиды, происшедшую всего лишь за девять тысяч лет до Солона, то есть катастрофу с точки зрения истории земли весьма позднюю, никак нельзя считать великим потопом. Она тоже была только повторением, только претворением прошлого в настоящее, только ужасающим напоминанием; истинное же начало этой истории надо отнести по меньшей мере к той неизмеримо далекой поре, когда огромный остров под названием «Лемурия», в свою очередь представлявший собой лишь остаток древнего материка Гондваны, исчез в волнах Индийского океана.

Нас занимают не числовые выражения времени, а то уничтожение времени в тайне взаимозаменяемости предания и пророчества, которое придает слову «некогда» двойное значение прошлого и будущего и тем самым заряжает это слово потенцией настоящего. Здесь корни идеи перевоплощения. Цари Вавилона и обоих Египтов, упомянутый уже курчавобородый Куригальзу, а равно и Гор, что блистал во дворе в Фивах и носил имя «Амун-доволен», и все их предшественники и преемники были плотскими ипостасями бога Солнца, – то есть миф становился в них мистерией, и грань между «быть» и «значить» стиралась начисто. Времена, когда можно было спорить, «является» ли просфора телом жертвы или только «означает» его, наступили только три тысячи лет спустя; но и эти весьма праздные словопрения ничуть не поколебали того факта, что суть тайны по-прежнему заключена во вневременном настоящем. В этом и состоит смысл обрядов, праздника. Каждое рождество заново родится на свет младенец-спаситель, которому суждено страдать, умереть и воскреснуть. И когда в Сихеме или Бет-Лахаме во время летнего солнцестояния Иосиф на «празднике плачущих женщин», «празднике зажженных светильников», празднике в честь Таммуза, под всхлипывания флейт и крики радости, переживал, как будто все это случалось при нем, – и убийство «пропавшего сына» отрока-бога, Усира-Адонаи, и его воскресение, – то тут как раз и происходило то уничтожение времени в тайне, которое нас занимает, – занимает потому, что оно доказывает логическую состоятельность мышления, сразу узнававшего во всяком бедственном полноводье великий потоп.

6

К истории потопа примыкает история Великой Башни. Будучи, как и первая, общим достоянием, она оживала в разных местах и давала поводы для образования кулис и мечтательной путаницы не меньше, чем первая. Что, например, башню вавилонского храма Солнца, носившую название Эсагила, или Дом Вознесения Глав, Иосиф считал той самой великой башней, – это столь же несомненно, сколь и простительно. Уже странник из Ура, безусловно, считал ее великой башней, да и не только в окружении Иосифа, а прежде всего в самой земле Синеар на этот счет не было никакого другого мнения. Древняя и громадная башня Эсагилы, воздвиг которую, как полагали, с помощью первых своих созданий – черноголовых – сам Бел, творец, а обновил и достроил законодатель Хаммурагаш, семиуступная эта башня, о финифтяном великолепии которой слыхал Иосиф, была для всех халдеев зримо-реальным воплощением понятия, дошедшего до них от незапамятно давних времен – Великой Башни, творения рук человеческих, высотой до небес. Если в узком кругу Иосифа сказание о башне связывалось с какими-то другими, по существу не относящимися к делу представлениями, например, с идеей «рассеяния», то объясняется это только личным отношением к башне лунного странника, его обидой и его уходом; для людей Синеара между мигдалами, крепостными башнями их городов, и названным нами понятием не было ничего общего: напротив, законодатель Хаммурагаш велел оговорить в особой надписи, что он затем и сделал их такими высокими, чтобы «вновь сплотить» под своим, посланца неба, владычеством рассеивающийся народ. Лунный предок, однако, усмотрел в этом нечто обидное в божественном смысле и вопреки единодержавным намерениям Нимрода рассеялся; поэтому то прошлое, которое реально воплощалось в Эсагиле, приобрело привкус будущего, привкус пророчества. Суд витал над этим строптиво поднявшимся до небес памятником царской Нимродовой дерзости; камня на камне не должно было от него остаться, а его строителей должен был смешать и рассеять владыка богов. Так учил сына Иакова старый Елиезер, сохраняя двойной смысл слова «некогда», то единство предания с пророчеством, плодом которого была вневременная реальность, халдейская башня. С ней, таким образом, и связывалось у Иосифа предание о Великой Башне. Но совершенно ясно, что Эсагила – это только кулиса, только один из многих мысов на неизмеримом пути к подлинной башне. Для людей Мицраима эта башня тоже была реальностью и воплощалась в стоявшем среди пустыни поразительном надгробье царя Хуфу. Но и в землях, о существовании которых ни Иосиф, ни старый Елиезер даже не подозревали, посреди Америки, тоже имелась своя «башня» или, вернее, своя аллегория башни, огромная пирамида в Халуле, размеры которой, судя по развалинам, непременно вызвали бы у царя Хуфу досаду и зависть. Жители Халулы всегда отрицали, что это исполинское сооружение – дело их рук. Они утверждали, что пирамида сооружена действительно исполинами: какой-то, по уверениям тамошних жителей, пришедший с востока и одержимый тоской по солнцу искусный народ, истово трудясь, воздвиг это здание из глины и горной смолы, чтобы приблизиться к любимому своему светилу. Многое говорит в пользу предположения, что эти высокоразвитые чужеземцы были колонистами с Атлантиды, и похоже на то, что куда бы ни прибывали эти солнцепоклонники и ярые астрономы, у них не находилось более срочного дела, чем сооружать на глазах у изумленных аборигенов огромные обсерватории по образцу высочайших отечественных построек и, в частности, Горы Богов посреди их страны, о которой рассказывает Платон. Возможно, стало быть, что прообраз Великой Башни следует искать в Атлантиде. Во всяком случае, мы не в состоянии проследить более давнюю историю Башни и потому кончаем свои рассужденья об этом странном предмете.

7

Где же находился рай, «сад на востоке», место покоя и счастья, родина человека, где он вкусил от дурного древа и откуда был изгнан или, вернее, изгнал и рассеял себя самого? Юный Иосиф знал это не хуже, чем историю потопа, и из тех же источников. Он только улыбался, когда жители пустыни из Сирии объявляли раем большой оазис Дамаск, не в силах представить себе ничего более чудесного, чем бойкий торговый город, расположенный среди луговых озер, царственных гор и плодовых рощ, утопающий в прекрасно орошенных садах и кишмя кишащий самым разнообразным людом. Не пожимал он из вежливости плечами, но внутренне пожимал ими и тогда, когда жители Мицраима заявляли, что сад этот находился, само собой разумеется, в Египте, ибо середина и пуп вселенной – Египет. Курчавобородые синеарцы тоже считали, что их столица, которую они называли «Врата бога» и «Союз Неба и Земли» (мальчик Иосиф повторял за ними эти слова на их очень ходовом тогда языке: «Вав-илу, маркас шаме у ирси-тим», – произносил он быстро и ловко) – что Вавилон, стало быть, – это священная середина вселенной. Но у Иосифа были насчет пупа вселенной более подробные и точные сведения, почерпнутые из истории его доброго, задумчивого и торжественного отца, который, еще в молодости, отправившись к дяде в страну Нахараим, на пути в Харран от «Семи колодцев», где жила его семья, нежданно-негаданно набрел на истинные врата неба, на подлинный пуп вселенной: то был холм Луз со священным каменным кругом, место, которое отец затем назвал Вефиль, Дом Божий, ибо здесь, убегая от Исава, он сподобился самого потрясающего в своей жизни откровения. Здесь, на холме, где Иаков поставил памятником и полил маслом каменное свое изголовье, здесь была с тех пор для близких Иосифа середина вселенной и пуповина, связующая небо и землю; но рай был и не здесь, а на изначальной родине, он, по ребяческому убеждению Иосифа, убеждению, впрочем, широко распространенному, находился где-то там, откуда некогда вышел странник лунного города, в нижнем Синеаре, где разделялась река и где влажная земля между ее рукавами поныне еще изобиловала деревьями, приносящими лакомые плоды.

Мнение, что Эдем нужно искать где-то здесь, в Южной Вавилонии, и что тело Адама было сотворено из вавилонской земли, надолго осталось господствующим богословским учением. Однако и в этом случае перед нами опять знакомая нам кулиса-преграда, та же система наслоений и соотнесенных с определенным местом древних прообразов, которую нам уже не раз доводилось наблюдать, – только на этот раз тут есть что-то необычное, в точнейшем смысле слова заманчивое и уводящее за пределы земного; только на этот раз колодец человеческой истории показывает всю свою глубину, неизмеримую глубину – вернее, бездонность, к которой уже не подходит понятие глубины или темноты, а подходит, наоборот, представление о высоте и о свете, – о светлой высоте, откуда и произошло падение, история которого неразрывно связана с памятью нашей души о саде блаженства.

Дошедшее до нас описание рая в одном отношении точно. Из Эдема, сказано там, выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки: Фисон, Гихон, Евфрат и Хидекель. Фисон, как добавляют толкователи, зовется также Гангом; он обтекает всю землю индов и несет с собой золото. Гихон – это Нил, величайшая река мира, а обтекает он землю мавров. Что же касается Хидекеля, реки быстрой, как стрела, то это Тигр, протекающий перед Ассирией. Последнее ни у кого не вызывает возражений. Возражения, и притом веские, вызывает отождествление Фисона и Гихона с Гангом и Нилом. Полагают, что речь идет об Араксе, впадающем в Каспийское, и о Галисе, впадающем в Черное море, и что рай, следовательно, хоть и был в поле зрения вавилонян, находился на самом деле не в Вавилонии, а в той горной области Армении, севернее Месопотамской равнины, где соседствуют истоки упомянутых четырех рек.

Это мнение представляется вполне разумным. Ведь если, как то утверждает достопочтеннейший источник, «Фрат», или Евфрат, выходил из рая, то никак нельзя допустить, что рай находился где-то близ устья Евфрата. Но, признав это и отдав пальму первенства стране Армении, мы всего-навсего сделаем шаг к следующей правде и остановимся только на одну кулису, только на одну путаницу дальше.

Четыре стороны – так учил Иосифа уже старик Елиезер – дал миру бог: утро, вечер, полдень и полночь, хранимые у самого престола господня четырьмя священными животными и четырьмя ангелами, не спускающими глаз с этой основы основ. И разве не в точности на четыре страны света глядят нижнеегипетские пирамиды своими покрытыми блестящим цементом гранями? Так же расположены и райские реки. В своем течении они подобны змеям с соприкасающимися остриями хвостов и направленными к четырем разным странам света, а потому далекими одна от другой головами. Это явное заимствование. В Переднюю Азию перенесена география, хорошо знакомая нам по описанию другой, исчезнувшей земли, а именно – Атлантиды, где, по Платону, посреди острова возвышалась Гора Богов, а от нее точно так же, то есть крестом, на четыре стороны света, растекались те же четыре реки. Всякий ученый спор о географическом значении «главных рек» и о местонахождении самого сада приобретает успокоительно праздный характер благодаря сведеньям, из которых явствует, что соотносимая с разными местами идея рая обязана своей наглядностью памяти народов об исчезнувшей земле, где, живя по священным и кротким законам, благоденствовало высокомудрое человечество. Совершенно ясно, что предание о рае в узком смысле слова смешалось с легендой о золотом веке. Память об этом веке по праву, видимо, связана с той гесперийской страной, где, если не врут все наши источники, какой-то великий народ вел в неповторимо благоприятных условиях мудрую и благочестивую жизнь. Но «садом в Эдеме», прародиной и местом падения, эта страна вовсе не была; она лишь кулиса, лишь мнимый конец пространственно-временных поисков рая; ибо первобытного человека, адамита, история земли относит ко временам и пространствам, канувшим в прошлое еще до заселения Атлантиды.

О, дразнящая обманчивость поисков! Если еще допустимо, если еще простительно, хотя и ошибочно было отождествлять с раем страну золотых яблок, где текли четыре реки, – то как можно было при полной даже готовности к самообману упорствовать в таком заблужденье, зная о мире лемуров, составляющем самый близкий и самый далекий пласт, мире, где жалкое подобие человека, существо, в котором прекрасный лицом и станом Иосиф отказался бы с понятным негодованием узнать себя, томилось одновременно сладким и страшным сном своей жизни в отчаянной борьбе с огромными броненосными саламандрами и летающими ящерами? Это не был «сад в Эдеме», это был ад. Это была, скорее, первая после паденья, несчастная полоса. Нет, не здесь, не у начала времени и пространства, был сорван и съеден плод с дерева вожделенья и смерти. Это случилось раньше. Колодец времен целиком пройден, а мы еще не достигли той конечной, той начальной цели, к которой стремились; история человека древнее, чем материальный мир, являющийся делом его воли, она древнее, чем жизнь, на его воле основанная.

8

Очень древняя традиция, возникшая на почве правдивейшего самоощущения человека и воспринятая религиями, пророчествами и сменяющими друг друга гносеологиями Востока, авестой, исламом, манихейством, гностицизмом и эллинизмом, связана с образом первого или совершенного человека, древнееврейского adam gadmon; его нужно представлять себе юношей из чистого света, созданным до начала мира как символ и прототип человечества; образ этот разные ученья и преданья варьируют, но в самом существенном они совпадают. По смыслу их, в начале начал прачеловек был избранником бога и борцом против прони-

кавшего в новосозданный мир зла, но потерпел пораженье, был скован демонами, заключен в материю и оторван от своего корня; правда, второй посланец божества, который таинственным образом был тем же самым избранником, высшей его частью, освободил узника от мрака телесно-земного существованья и вернул его в царство света, однако частицу собственного света тот вынужден был оставить, и она пошла в ход при создании материального мира и земных человеков. Чудесные истории! В них уже различим элемент веры в спасенье, но он еще прячется за космогоническими целями: оказывается, в своем теле богорожденный прачеловек содержал семь металлов, которым соответствуют семь планет – те самые металлы, из которых построен мир. По другой версии, этот возникший из отцовской первопричины светочеловек прошел через семь планетных сфер и был приобщен их владыками к природе каждой из них. Взглянув затем вниз, он будто бы увидел в материи свое отраженье, полюбил его, спустился к нему и таким образом попал в узы дольней природы. Этим-то будто бы и объясняется двойственная человеческая природа, неразделимо соединяющая в себе признаки божественного происхождения и органической свободы с тягостной прикованностью к дольнему миру.

В этом нарциссовском образе, полном трагической прелести, проясняется смысл занимающего нас предания; ведь такое проясненье наступает в тот миг, когда уход сына-бога из горнего царства света в низменную природу перестает быть простым исполнением высшей воли, невинным, следовательно, поступком, и приобретает характер самостоятельно-добровольного, вожделенного действия, характер, стало быть, какой-то провинности. Одновременно перестает быть загадкой значение «второго посланца», в высшем смысле тождественного светочеловеку и прибывшего для того, чтобы освободить его от пут темноты и вернуть восвояси. В этот момент предание делит мир на три действующих лица – материю, душу и дух, – между каковыми, с участием божества, и разыгрывается тот роман, настоящим героем которого является склонная к авантюризму и благодаря авантюризму творческая душа человека, роман, который, как самый заправский миф, соединяет весть о начале с предвестием конца и дает ясные сведения об истинном месте рая и о «падении».

Получается, что душа, то есть прачеловеческое начало, была, как и материя, одной из первооснов бытия и что она обладала жизнью, но не обладала знанием. В самом деле, пребывая вблизи бога, в горнем мире покоя и счастья, она беспокойно склонилась – это слово употреблено в прямом смысле и показывает направленье – к бесформенной еще материи, одержимая желанием слиться с ней и произвести из нее формы, которые доставили бы ей, душе, плотское наслажденье. Однако после того, как душа поддалась соблазну и спустилась с отечественных высот, муки ее похоти не только не унялись, но даже усилились и стали настоящей пыткой из-за того, что материя, будучи упрямой и косной, держалась за свою первобытную беспорядочность, наотрез отказывалась принять угодную душе форму и всячески сопротивлялась организации. Тут-то и вмешался бог, решив, по-видимому, что при таком положении дел ему ничего не остается, как прийти на помощь изначально существовавшей с ним рядом, а теперь сбившейся с пути душе. Он помог ей в ее любовном борении с неподатливой материей; он сотворил мир, то есть создал в нем, в угоду первобытночеловеческому началу, прочные, долговечные формы, чтобы от этих форм душа получила плотскую радость и породила людей. Но сразу же после этого, следуя своему замысловатому плану, он сделал еще кое-что. Из субстанции своей божественности, как дословно сказано в цитируемом нами источнике, он послал в этот мир, к человеку, дух, чтобы тот разбудил уснувшую в человеческой оболочке душу и по приказу отца своего разъяснил ей, что в этом мире ей нечего делать и что ее чувственное увлечение было грехом, следствием которого сотворение этого мира и нужно считать. О том дух и твердит, о том и напоминает без устали заключенной в материю душе, что, если бы не ее дурацкое соединенье с материей, мир не был бы сотворен и что, когда она отделится от материи, мир форм сразу же перестанет существовать. Убедить в этом душу и есть задача духа, и все его надежды, все его усилия устремлены на то, чтобы одержимая страстью

душа, поняв эту ситуацию, вновь признала наконец горнюю свою родину, выкинула из головы дольний мир и устремилась в отечественную сферу покоя и счастья. В тот миг, когда это случится, дольний мир бесследно исчезнет; к материи вернется ее косное упрямство; не связанная больше формами, она сможет, как и в правечности, наслаждаться бесформенностью, и значит, тоже будет по-своему счастлива.

Таково это учение, таков этот роман души. Здесь, несомненно, достигнуто последнее «раньше», представлено самое дальнее прошлое человека, определен рай, а история грехопадения, познания и смерти дана в ее чистом, исконном виде. Прачеловеческая душа – это самое древнее, вернее, одно из самых древних начал, ибо она была всегда, еще до времени и форм, как всегда были бог и материя. Что касается духа, в котором мы узнаем «второго посланца», призванного возвратить домой душу, то он каким-то неопределенным образом глубоко родствен душе, но не является полным ее повторением, ибо он моложе; он порожден и послан богом, чтобы образумить и освободить душу, уничтожив для этого мир форм. А если некоторые формулы изложенного учения утверждают высшую тождественность души и духа или иносказательно на нее намекают, то для этого есть основания. Дело не только в том, что поначалу прачеловеческая душа выступает божьим соратником в битве против зла и что, следовательно, приписываемая ей роль весьма сходна с той, которая потом достается духу, посланному освободить ее самое. Учение недостаточно обосновывает это подобие скорей потому, что не вполне раскрывает роль, исполняемую в романе души духом, и в этом пункте явно должно быть дополнено.

Задача духа в этом мире форм и смерти, возникшем благодаря бракосочетанию души и материи, обрисована совершенно ясно и четко. Миссия его состоит в том, чтобы пробудить в душе, самозабвенно отдавшейся форме и смерти, память о ее высоком происхождении; убедить ее, что она совершила ошибку, увлекшись материей и тем самым сотворив мир; наконец, усилить ее ностальгию до такой степени, чтобы в один прекрасный день она, душа, полностью избавилась от боли и вожделенья и воспарила домой, – что незамедлительно вызвало бы конец мира, вернуло материи ее былую свободу и уничтожило смерть. Бывает, однако, что посол заживется в чужой вражеской державе и, растлившись, погибнет для собственной: приглядываясь, приноравливаясь и привыкая понемногу к чужим обычаям, он настолько порой проникается интересами и взглядами врага, что уже не может защищать интересы своей родины, и его приходится отозвать. То же самое или примерно то же происходит и с выполняющим свою миссию духом. Чем больше он ее выполняет, чем дольше он занят дипломатией здесь внизу, тем заметнее – таково уж тлетворное влияние чужбины – какой-то внутренний надлом в его деятельности, надлом, который вряд ли замалчивался бы в высшей сфере и, по всей вероятности, привел бы к отозванию духа, если бы не так трудно было решить вопрос о целесообразной замене.

Нет ни малейшего сомнения, что по мере того как игра затягивается, дух начинает не на шутку стыдиться своей роли губителя и могильщика мира. Приноравливаясь к окружающей среде, дух меняет свою точку зрения на вещи до такой степени, что теперь он, считавший своей задачей уничтожение смерти, ощущает себя, наоборот, смертельным началом, несущим миру смерть. Это в самом деле вопрос позиции, точки зренья, решить его можно и так и этак. Только надо знать, какой взгляд на вещи тебе к лицу и отвечает твоей задаче, иначе с тобой произойдет то, что мы, не обинуясь, назвали растленьем, и ты не выполнишь естественного своего назначенья. Тут обнаруживается известная слабохарактерность духа, ибо своей славой смертельного начала и разрушителя форм – славой, которой он к тому же обязан главным образом собственной натуре, собственной, оборачивающейся даже против себя самой воле к рассуждению, – этой славой он очень тяготится и считает делом своей чести избавиться от нее. Не то чтобы он умышленно изменял своему долгу; но, поддаваясь этой тяге к рассуждению и порыву, который можно назвать недозволенной влюбленностью в душу и в ее стра-

сти, он говорит совсем не то, что собирался сказать, поощряет душу и ее увлеченье и, прихотливо глумясь над своими чистыми целями, защищает формы и жизнь. Идет ли на пользу духу такое предательское или граничащее с предательством поведение; не продолжает ли он все равно, даже и таким способом, служить цели, ради которой послан, то есть уничтожению материального мира изъятием из него души, и не отдает ли себе в этом полнейшего отчета сам дух, а значит, не ведет ли он себя так лишь потому, что, в сущности, знает, что может себе позволить подобное поведенье, – этот вопрос остается открытым. Во всяком случае, в этом глумливо-самоотступническом слиянии воли духа с волей души можно найти объяснение той иносказательной формуле учения, согласно которой «второй посланец» есть второе «я» светочеловека, посланного побороть зло. Да, вполне возможно, что в этой формуле скрыт пророческий намек на тайные решения бога, показавшиеся нашему учению слишком священными и неясными, чтобы сказать о них прямо.

9

Если все как следует взвесить, то о «грехопадении» души или изначального светочеловека можно говорить только при чрезмерной нравственной скрупулезности. Согрешила душа, во всяком случае, только перед самой собой – легкомысленно пожертвовав своим первоначально спокойным и счастливым состоянием, но не перед богом, – нарушив, к примеру, его запрет страстным своим порывом. Никакого запрета, по крайней мере согласно принятому нами учению, от бога не исходило. Если же благочестивое предание и упоминает о запрете, о том, что бог запретил первым людям есть от древа познания «добра и зла», то, во-первых, речь здесь идет о каком-то вторичном и уже земном событии, о людях, возникших при творческом содействии самого бога, в результате познания материи душой; и если бог действительно подверг их этому испытанию, то можно не сомневаться, что ему был наперед известен его исход, и непонятно только, зачем это богу понадобилось, установив запрет, которым наверняка пренебрегут, вызывать злорадство у ангельского своего окружения, настроенного в отношении человечества весьма недоброжелательно. А во-вторых, поскольку слова «добро и зло» несомненно представляют собой, как всеми и признано, глоссу и добавление к чистому тексту и на самом деле речь идет просто о познании, следствием которого является не нравственная способность различать добро и зло, а смерть, – то вполне вероятно, что и само упоминание о «запрете» тоже представляет собой благонамеренную, но неудачную вставку.

В пользу этой догадки, помимо всего прочего, говорит то, что бог не разгневался на душу за ее любострастное поведение, не отрекся от нее и не подверг ее какой-либо каре, более жестокой, чем ее добровольное страдание, возмещавшееся как-никак удовольствием. Наоборот, при виде увлечения души он явно проникся к ней если не симпатией, то, уж во всяком случае, жалостью, – ведь он сразу, не дожидаясь зова, пришел к ней на помощь, он лично вмешался в ее познавательно-любовное единоборство с материей, создав из материи смертный мир форм, чтобы они доставляли наслаждение душе, а при таком поведении бога границу между симпатией и жалостью провести и впрямь очень трудно или даже вообще невозможно.

Говорить о грехе, подразумевая под грехом неуважение к богу и выраженной им воле, в данном случае не вполне правомерно, особенно если учесть своеобразное пристрастие бога к племени, возникшему благодаря совокуплению души с материей, к человеческому роду, с самого начала явно, и притом не без основания, вызывавшему ревность ангелов. На Иосифа производили глубокое впечатление рассказы старого Елиезера об этих отношениях, а старик говорил о них примерно то же, что мы и сегодня можем прочесть в древнееврейских комментариях к первобытной истории. Если бы, сказано там, бог мудро не умолчал о том, что в роду человеческом будут не только праведники, но и носители зла, царство строгости никогда не допустило бы сотворения человека. Эти слова проливают свет на многое. Прежде всего они

показывают, что «строгость» присуща не столько богу, сколько его окружению, от которого он, конечно, не в решающей мере, но все же до некоторой степени зависит, если, опасаясь препятствий с этой стороны, не сказал о своей затее всей правды, а кое-что предал огласке и кое-что скрыл. Но не указывает ли это скорее на то, что сотворение мира отвечало его желанию, чем на то, что оно произошло вопреки его воле? Значит, хотя и нельзя сказать, что бог прямо-таки толкнул душу на ее авантюру, действовала душа все же не наперекор ему, а лишь наперекор ангелам, которые с самого начала относятся к человеку недружелюбно. То, что бог сотворил этот мир добра и зла и принимает участие в нем, представляется ангелам барской причудой и вызывает у них обиду, так как они – и, наверно, не без основания – подозревают, что богу просто наскучила их величальная чистота. Изумленные, полные упрека вопросы, вроде: «Что есть человек, господи, и какой тебе от него прок?» – не сходят у них с языка, и бог отвечает ангелам осторожно, уклончиво, примирительно, но иногда вдруг раздраженно и в явно оскорбительном для них смысле. Не так-то просто, конечно, объяснить низвержение Семаила, очень важного лица среди ангелов, судя по тому, что у него было двенадцать пар крыльев, а у священных животных и у серафимов всего по шести, но между его падением и этими разногласиями существует прямая связь, как явствовало из уроков Елиезера, которым напряженно внимал Иосиф. Именно Семаил всегда подзуживал ангелов против человека или, вернее, против того пристрастия, какое бог питал к человеку; и когда однажды господь повелел рати небесной поклониться Адаму за его разум и за то, что он назвал вещи их именами, все, хоть и пряча усмешку или насупив брови, повиновались этому приказу, и только Семаил его ослушался. С безумной откровенностью он заявил, что это нелепость, что незачем сотворенным из сияния славы божией падать ниц перед тем, кто создан из праха земного, – и тут-то как раз он и был низвергнут, что, по описанию Елиезера, издали походило на паденье звезды. Хотя остальные ангелы, разумеется, испугались и с тех пор зарубили себе на носу, что с человеком нужно держаться крайне осторожно, все-таки совершенно ясно, что всякое усиленье греховности на земле, такое, например, как перед потопом или в Содоме и Гоморре, – это очередное торжество для святой рати и очередная незадача для творца, который вынужден в таких случаях производить ужасную чистку – не столько по собственному почину, сколько под моральным давлением небес. Но если все эти догадки справедливы, как же обстоит дело с задачей «второго посланца», духа? Действительно ли он послан затем, чтобы уничтожить материальный мир, освободив из его плена душу и вернув ее в родные пределы?

Можно предположить, что это не входит в замысел бога и что на самом деле, вопреки своей славе, дух был послан к душе вовсе не для того, чтобы стать могильщиком мира форм, созданного ею при дружественном пособничестве бога. Тайна тут, возможно, другая, и ключ к ней, возможно, дают слова учения о том, что второй посланец – это все тот же посланный прежде на борьбу со злом светочеловек. Мы давно знаем, что тайна вольно обращается с грамматическими временами и вполне может употребить прошедшее, имея в виду будущее. Слова о том, что душа и дух были едины, возможно, должны означать, что некогда они будут едины. Да, это тем более вероятно, что дух сам по себе представляет собой в основном принцип будущего, утверждение «будет», «должно быть», меж тем как душа, находясь в плену форм, благочестиво верна прошлому, священному «было». Где тут жизнь и где смерть, трудно сказать; обе стороны – и слившаяся с природой душа, и находящийся вне мира дух, принцип прошлого и принцип будущего, – обе стороны, каждая по-своему, претендуют на званье живой воды и обвиняют друг друга в содействии смерти – и обе правы, потому что ни природу без духа, ни дух без природы, пожалуй, не назовешь жизнью. Тайна же и тихая надежда бога состоит, вероятно, в их слиянье, в настоящем приходе духа в мир души, во взаимопроникновенье обоих начал, в том, что они, оставив друг друга, станут человечеством, благословенным свыше благословением неба и снизу благословением бездны.

Вот, быть может, каков тайный, сокровеннейший смысл этого ученья, – хотя сомнительно, чтобы уже известное нам, самоотверженно-угодливое поведение духа, вызванное чрезмерной его чувствительностью к упреку в служении смерти, было верным путем к вышеобрисованной цели. Сколько бы дух ни старался наделить немую страсть души своим остроумием, чтя могилы, называя прошлое единственным источником жизни, а себя самого выставляя злодеем-фанатиком, губительно притесняющим жизнь, – кем бы он ни прикидывался, он все равно остается самим собой: напоминающим гонцом, тем принципом осужденья, противоречия, непоседливости, что, выбрав среди довольных и ублаженных кого-то одного, родит в его груди тревогу сверхъестественно огромной беды, гонит его из ворот состоявшегося и данного в авантюрно-неведомое и уподобляет камню, который, покатившись, кладет начало необозримому множеству перемен и свершений.

10

Так образуются те самые глубинные пласты прошлого, откуда смело можно начинать частную историю, как начинал свою от города Ура и от ухода пращура Иосиф. Традиция духовного беспокойства, – она была у Иосифа в крови, это она определяла близкую ему жизнь, мир и поступки его отца, и это ее узнавал он, когда бормотал стихи клинописной поэмы:

Ты почему вселил в Гильгамеша тревогу,
Сына зачем наделил ты душой мятежной?

Незнание покоя, пытливость, настороженность искателя, радение о боге, горькое, полное сомнений раздумье об истинном и праведном, о началах и концах, о собственном имени, о собственной сущности, о подлинной воле всевышнего – как отражалось все это, унаследованное через поколения от урского странника, на высоколобом стариковском лице Иакова и в тревожно-задумчивом взгляде карих его глаз и как любил Иосиф этот душевный склад, исполненный сознания своей благородной недюжинности и который как раз благодаря этой, гордившейся собой высшей тревоге, придавал отцу неотъемлемую от его облика степенность, внушительность и торжественность! Неутомимость и достоинство – это печать духа, и без робости, с детской доверчивостью узнавал Иосиф на челе своего повелителя и отца наследственный этот чекан, хотя сам обладал более веселым и беспечным нравом, унаследованным, скорее, от его прелестной матери, и по природной своей общительности был более словоохотлив и говорлив. Да и отчего ему было робеть перед своим задумчивым и озабоченным отцом, если он знал, что тот горячо его любит? Привычка быть любимым и получать предпочтение определила характер Иосифа и стала его натурой; она определила и его отношение ко всевышнему, которого, если только дозволено было приписывать богу какой-то образ, Иосиф представлял себе в точности таким же, как Иаков, видя в нем, так сказать, высшее повторенье отца и будучи искренне убежден, что бог любит его, Иосифа, так же горячо, как отец. Забегая вперед, назовем его отношенье к Адону неба отношеньем невесты – по аналогии с посвятившими себя Иштар или Милитте вавилонскими женщинами, о которых Иосиф знал, что они давали обет безбрачия, жили в кельях при храмах и назывались «чистыми» или «святыми», а также «невестами бога», «энитy». В его мироощущении было что-то от этих энитy, какая-то строгость, какое-то сознание своей обрученности, и еще, в связи с этим, какое-то игривое фантазерство, – оно еще задаст нам, когда мы спустимся к Иосифу, немало хлопот, – представлявшее собой, вероятно, форму, в которой проявилось наследие духа в его случае.

Однако, при всей своей привязанности к Иакову, он не вполне понимал и одобрял форму, какую оно приняло в случае отца: озабоченность, тоску, нервозность, проявлявшиеся в непреодолимой неприязни к фундаментально-оседлому быту, который, казалось бы, подобал его

степенности, в его всегда лишь временном, походно-бивачном и полубездомном укладе жизни. Ведь и отца он тоже, несомненно, любил, о нем он тоже заботился и если оказывал предпочтенье – больше того, если он покровительствовал Иосифу, то делал это, безусловно, прежде всего ради отца. Бог Шаддаи обогатил Иакова в Месопотамии скотом и всяким добром, – и, окруженный сыновьями, женами, пастухами, рабами, тот мог бы быть князем среди князей страны, да и был им, был не только по внешнему своему весу, но и по богатству духа, как «наби», то есть «глашатай», как вещий, сведущий в боге мудрец, как один из тех старцев и духовных вождей, к кому перешло наследие халдеянина и кого каждый раз принимали за его телесных потомков. При переговорах и заключении торговых сделок с ним объяснялись не иначе, как в самых изысканных и кудрявых оборотах речи, называя его «господин мой» и говоря о себе лишь в самых уничижительных выражениях. Почему он не жил со своими домашними как состоятельный горожанин в самом Хевроне, в Урусалиме или в Сихеме, в прочном доме из камня и дерева, в доме, под которым он мог бы хоронить своих мертвецов? Почему, словно измаильтянин и бедуин пустыни, раскинул он свои шатры вне города, на вольном просторе, так что не видел даже крепостных стен Кириаф-Арбы, почему он раскинул их возле колодца, пещерных могил, дубов и скипидарных деревьев, готовый сняться с места когда угодно, как будто не смел осесть и пустить корни, как все, а должен был с часу на час ждать знака, который заставит его разобрать хижины и стойла, навьючить на верблюдов шесты, войлок и шкуры и двинуться дальше? Иосиф, конечно, знал почему. Так жил отец потому, что служил богу, далекому от покоя и житейских удобств, богу помыслов о грядущем, богу, чья воля требовала становления каких-то неясных, но великих и многообещающих дел, который и сам-то вместе со своей волей и вынашиваемыми замыслами находился еще в становленье и был поэтому богом беспокойства, хлопотным богом: он хотел, чтобы его искали, и ради него всегда приходилось быть свободным, подвижным и начеку.

Короче говоря, это дух, возвышающий, но и унижающий дух запрещал Иакову жить оседлой городской жизнью, и если маленький Иосиф, отнюдь не равнодушный ко всякой светской представительности и даже пышности, об этом порой сожалел, то таков уж был его нрав, а с некоторыми свойствами его нрава нас примиряют другие свойства. Что же касается нас, приступающих к рассказу обо всем этом и, значит, без внешнего принужденья бросающихся в очень рискованное дело (слово «бросающихся» употреблено здесь в прямом смысле и показывает направленье), то мы не станем скрывать своего органического и безоговорочного сочувствия беспокойной враждебности старика к идее пребывания на одном месте, долговременной остановки. Разве не знакомо такое и нам? Разве и нам не суждена неугомонность, не дано сердце, не знающее покоя? Светило повествователя – разве это не Луна, владыка дороги, путник, идущий от стоянки к стоянке? Кто повествует, тот с приключеньями добирается и до стоянок; но там он делает лишь короткий привал, дожидаясь нового путеводного указанья, и вскоре уже вновь колотится его сердце, колотится и от любопытства, и от испуга, от плотского страха, но, во всяком случае, в знак того, что вот и опять пора в путь-дорогу, на новые приключенья, которые предстоит пережить во всех их неисчислимых подробностях, ибо такова воля беспокойного духа.

Мы уже давно в пути, и уже далеко позади стоянка, где мы ненадолго замешкались, мы уже забыли ее, мы уже издали, по обычаю путешественников, завязали отношенья с ожидаемым нами и ожидающим нас миром, чтобы, оказавшись там, не чувствовать себя в нем совсем чужими, растерянными и беспомощными. Оно уже затянулось, наше путешествие, правда? Не диво, ибо на сей раз это путешествие в ад! В глубокое, очень глубокое жерло спустимся мы, бледнея, в бездонный и непроглядный колодец прошлого.

Отчего мы бледнеем? Отчего у нас колотится сердце, и колотится-то не с тех пор, как мы тронулись в путь, а с первого же путеводного указанья, и не только от любопытства, но и куда сильнее от плотского страха? Разве минувшее не родная стихия рассказчика, разве прошед-

шее время глагола для него не то же, что для рыбы вода? Да, все это так, но почему наше любопытно-трусливое сердце не успокаивается от этого резона? Потому, наверно, что та стихия минувшего, к которой мы привыкли и которая нас так далеко, так весьма далеко уносила, отличается от того прошлого, в какое мы сейчас дрожа погружаемся, – от прошлого жизни, от исчезнувшего, умершего мира, куда и наша жизнь будет уходить все глубже и глубже и куда уже довольно глубоко уходят ее начала. Умереть – это значит, конечно, утратить время и выйти из времени, но это значит обрести взамен вечность и вездесущность, то есть действительно жизнь. Ибо суть жизни – настоящее, и только в мифическом преломлении тайна ее предстает в прошедшем и будущем временах. Это как бы популярная форма самораскрытия жизни, а тайна ее принадлежит посвященным. Пускай твердят народу, что душа странствует. Знатоку известно, что это учение есть лишь одежда, в которую облачена тайна вездесущности души, и что душе принадлежит вся жизнь, когда смерть прекращает ее, души, одиночное заключенье. Мы причащаемся смерти и познанию смерти, отправляясь в прошлое на правах авантюристов-повествователей, и отсюда наше любопытство и наша испуганная бледность. Но любопытство сильней, и мы не отрицаем, что идет оно от плоти, ибо предмет его – альфа и омега всех наших речей и вопросов, всех наших интересов – человек, которого мы ищем в преисподней и в смерти, как искала там Иштар Таммуза, а Исет – Усири, ищем, чтобы познать его там, где находится минувшее.

Ибо оно есть, есть всегда, хотя народ и пользуется словом «было». Так говорит миф, а миф только одежда тайны, но торжественный ее наряд – это праздник, который, повторяясь, расширяет значения грамматических времен и делает для народа сегодняшним и былое, и будущее. Удивительно ли, что на празднике люди всегда распускались и по скрепленному обычаем праву доходили до непотребства, если тут происходит взаимопознание смерти и жизни?..

Праздник повествования, ты торжественный наряд тайны жизни, ибо ты делаешь вневременность доступной народу и заклинаешь миф, чтобы он протекал вот сейчас и вот здесь. Праздник смерти, сошествие в ад, ты поистине праздник и утеха облеченной плотью души, которая недаром тяготеет к прошлому, к могилам и к благочестивому «было». Но да пребудет с тобой, да войдет в тебя также и дух, чтобы ты был благословен благословениями небесными свыше и благословениями бездны, лежащей долу!

Итак, без боязни вниз! Разве мы собираемся прыгнуть напропалую в колодец? Отнюдь нет. Мы спустимся чуть глубже, чем на три тысячи лет, – а что это по сравнению с бездонностью времени? Там у людей нет ни глаз на лбу, ни рогов, и они не сражаются с летающими ящерами: это такие же люди, как мы, если не считать некоторой мечтательной неточности их мышления, а ее им легко можно простить. Так, бывает, подбадривает себя тяжелый на подъем человек, у которого начинаются озноб и сердцебиенье, когда приходит пора отправляться в задуманную поездку. В конце концов, говорит он себе, разве я собрался на край света, в неведомые места? Ничего подобного, я еду туда-то и туда-то, где уже многие побывали, да и езды-то туда всего день или два. То же самое можно сказать и о стране, что нас ожидает. Добро бы это была страна, где растет перец, страна Га-га, такая диковинная, что за голову схватишься от изумления! Так нет же, это страна как страна, средиземноморская, не то чтоб уж очень похожая на родные наши места, немного пыльная и каменистая, но совсем не сумасшедшая, и над ней ходят знакомые нам звезды. Так, с горами и долами, с городами, дорогами и холмами виноградников, со своей рекой, хмуро и торопливо бегущей в зеленых рощах, она простирается в прошлом, как луга из сказки о волшебном колодце. Откройте глаза, если вы зажмурились перед спуском! Мы на месте. Вот они, глядите, – резкие лунные тени на мирных холмах! Вот она, ощутите, мягкая свежесть по-летнему звездной весенней ночи!

Былое Иакова

Раздел первый
У колодца

Иштар

То было за холмами к северу от Хеврона, немного на восток от дороги, что шла из Урусалима, в месяце адаре, лунным весенним вечером, до того светлым, что можно было читать без огня и каждый лист, каждый похожий на кисть цветок одиноко стоявшего здесь теребинта, дерева старого и кряжистого, невысокого, но развесистого, вырисовывался донельзя четко, хотя в то же время и расплывался в мерцающем свете. Прекрасное это дерево было священным; получить в тени его наставленье можно было по-разному: либо из уст человеческих (кто хотел поделиться какими-либо соображеньями о божественном, собирал слушателей под его ветвями), либо на более высокий лад. Не раз, например, сподоблялись во сне совета и вразумленья те, кто засыпал, склонив голову к его стволу, а всесожжения, которые, судя по каменному, с почерневшей плитою, жертвеннику, где, слегка курясь, теплился огонь, совершались у подножья старого теребинта, пользовались особым вниманием, что подтверждалось поведением дыма, многозначительным полетом птиц и даже небесными знаменьями.

Поблизости были еще деревья, хотя и не такие достопочтенные, как это, стоявшее особняком: и той же породы, и крупнолиственные смоковницы, и скальные дубы, пускавшие в утоптанную землю ростки из стволов, вечнозеленые, промежуточные между хвойными и лиственными дерева, ветви которых, выбеленные луной, свисали колкими опахалами. За деревьями, к югу, по направленью к закрывавшему город холму и немного дальше по его склону находились хижины и стойла, и в ночной тишине оттуда порой доносились глухое мычанье коровы, фырканье верблюда или надсадные стоны осла. А на север вид был открыт, и сразу же за поросшей мохом оградой, сложенной из двух слоев почти неотесанных камней и уподоблявшей место вокруг священного дерева небольшой, с низкими перилами террасе, до самого горизонта, волнисто очерченного отлогими холмами, в сиянье уже высокого и на три четверти полного светила, простиралась равнина – ближе вся в масличных деревьях и кустах тамариска, изрезанная проселками, а дальше сплошь голые выгоны, где виднелись огни пастушеских костров. На каменном парапете цвели цикламены, краски которых, лиловая и розовая, блекли от лунного света, во мху и в траве под деревьями – белые крокусы и красные анемоны. Пахло цветами и пряными травами, влажными испарениями деревьев, дровяным дымом, навозом. Небо было прекрасно. Широкий венец окружал Луну, свет которой при всей своей мягкости был так силен, что глядеть на нее было почти больно, и щедрым посевом рассыпались по ясному небосводу звезды, то реже, то гуще роясь мерцающими скопленьями. Ярко, живым голубоватым огнем, лучистым самоцветом сверкал на юго-западе Сириус-Нинурту, составлявший, казалось, одну фигуру с Прокионом Малого Пса, находившимся несколько южнее и выше. Царь Мардук, который взошел вскоре после захода Солнца и собирался светить всю ночь, мог бы сравниться с Нинурту в великолепии, если бы его блеска не затмевала Луна. Неподалеку от зенита, чуть юго-восточнее, горел Нергал, семииименный враг, приносящий чуму и смерть эламитянин, которого мы называем Марсом. Но Сатурн, любящий постоянство и справедливость, поднялся над горизонтом раньше, чем он, и блистал южнее, в полуденном круге. Клонясь к западу красной звездой главного своего светоча, красовался знакомыми

глазу очертаньями Орион, тоже препоясанный и вооруженный на славу ловец. Там же, только южнее, парил Голубь. Регул в созвездии Льва посылал привет из зенита, к которому уже поднялась воловья упряжка Колесницы, тогда как желто-красный Арктур Волопаса стоял еще низко на северо-востоке, а желтое светило Козы с созвездьем Возничего село уже в вечерне-полуночной стороне. Но всех прекраснее, ярче всех предвестников и всей рати кокабимов была Иштар, сестра, супруга и мать, Астарта, идущая за Солнцем царица, низко на западе. Она серебрилась, испускала улетучивающиеся лучи, сверкала вспышками, и продолговатое пламя, подобное острию копья, словно бы устремлялось из нее вверх.

Слава и действительность

Были глаза здесь, достаточно наметанные, чтобы все это различать и с толком разглядывать, темные, направленные к небу глаза, в которых отражалось все это многообразное сиянье. Они скользили по валу зодиака, прочной плотины, смиряющей небесные волны, валу, где бодрствовали определители времени; по священным знакам, которые после кратких сумерек этих широт показывались один за другим, начиная с Тельца: когда жили эти глаза, солнце в начале весны стояло под знаком Овна, и потому это созвездие ушло в бездну с ним вместе. Они улыбнулись, сведущие эти глаза, Близнецам, спускавшимся с высоты на вечер; они покосились на восток и отыскали колос в руке Девы, но возвратились в световые пределы Луны и к ее серебряному, мерцающему щиту, неодолимо притягиваемые чистым и мягким его блеском.

Они принадлежали юноше, сидевшему на краю каменного, со сводчатым навесом, колодца, который, неподалеку от священного дерева, открывал свою влажную глубину. К жерлу его поднимались круглые, выщербленные ступени, и на них покоились босые ноги молодого человека, мокрые, как и сами ступени по эту сторону, где с них капала пролитая вода. Сбоку, где было сухо, лежали его верхнее платье, желтое, с широким красно-бурым узором, и его воловьей кожи сандалии, почти башмаки, так как они имели откидные стенки, охватывавшие пятки и щиколотки. Широкие рукава спущенной своей рубахи из беленого, но по-сельски грубого полотна юноша обмотал вокруг бедер, и смуглая кожа его туловища, казавшегося, по сравнению с детской еще головкой, тяжеловатым и полноватым, его по-египетски высокие и лежевесные плечи маслено лоснились при свете луны. Ибо после омовенья очень холодной колодезной водой, многократных, совершенных с помощью ведра и ковша, обливаний, которые после знойного уже дня были одновременно удовольствием и соблюдением религиозного предписанья, мальчик умастил свою кожу смешанным с благовониями оливковым маслом из тускло поблескивавшей рядом с ним склянки, не сняв с себя при этом ни редко сплетенного миртового венка, который он носил в волосах, ни амулета, что свисал у него на бронзовой цепочке с шеи на грудь – ладанки с отворотными корешками.

Сейчас он, казалось, совершал молитву, ибо с обращенным к Луне и залитым ее светом лицом, прижал к бокам локти, подняв к небу руки ладонями вверх и слегка раскачиваясь, вполголоса нараспев произносил одними губами не то слова, не то просто звуки… На левой руке у него было синее фаянсовое кольцо, а ногти его на руках и ногах носили кирпично-красные следы хны, которой он, как щеголь, окрасил их, должно быть, по случаю своего участия в последнем городском празднике, чтобы понравиться сидевшим на крышах женщинам, – хотя вполне мог бы пренебречь такими косметическими ухищрениями и положиться на дарованное ему богом хорошенькое личико, которое, при детской еще округлости, было и в самом деле, главным образом благодаря доброму выражению черных, немного раскосых глаз, весьма привлекательно. Красивые люди считают нужным усиливать естественную красоту и «прихорашиваться», вероятно, из какого-то послушанья отрадному своему жребию, в каком-то служенье природному своему дару, и служенью этому нельзя отказать в благочестии, а значит, и в пра-

вомерности, тогда как расфуфыренный урод – зрелище грустное и нелепое. К тому же ведь красота никогда не бывает совершенна, и как раз поэтому она склонна к тщеславию; она стыдится того, чего ей недостает, чтобы достичь идеала, ею же установленного, – а это стыд ложный, потому что тайна ее, собственно, и состоит в притягательности несовершенства.

Вокруг молодого человека, которого мы сейчас видим воочию, молва и сказанье создали настоящий ореол славы неповторимо прекрасного юноши, и подлинный его облик дает нам некоторый повод слегка удивиться этой славе – хотя неверные чары лунной ночи скорей подкрепляют ее лукавым обманом. Какая только хвала не воздавалась по прошествии многих дней его внешности в песнях и легендах, в апокрифах и псевдоэпиграфах, хвала, способная вызвать у нас, видящих его собственными глазами, только улыбку! Что лицо его могло посрамить красоту солнца и луны – это еще самое скромное из таких славословий. В одном из текстов сказано буквально, что он должен был прятать под покрывалом щеки и лоб, чтобы сердца людей не сожгли землю, воспылав любовью к посланцу бога, и что те, кому случалось увидеть его без покрывала, «погружались в блаженное созерцание» и уже не узнавали этого мальчика. Восточное предание, не обинуясь, утверждает, что половина всей имеющейся на свете красоты досталась этому юноше, а уж другая половина разделена между остальным человечеством. Один особенно авторитетный персидский певец побивает этот образ прихотливой картиной монеты весом в шесть лотов, в которую могла бы слиться вся красота нашего мира: тогда пять из них, фантазирует поэт, пришлись бы на долю этого несравненного красавца.

Такая слава, кичливая и не знающая меры, потому что уже не рассчитывает на то, что ее подвергнут проверке, в какой-то степени смущает и подкупает видящего, мешая ему трезво рассмотреть факты. Есть много примеров гипнотизирующего действия чрезмерно высокой, но уже общепринятой оценки, которую каждый усваивает с какой-то слепой и даже безумной готовностью. Лет за двадцать до той поры, где мы сейчас находимся, в Месопотамии, в округе Харрана, один очень близкий этому юноше человек разводил и продавал, как мы еще услышим, овец, и слава его овец была такова, что люди платили ему за них поистине бешеные деньги, хотя было совершенно очевидно, что дело шло вовсе не о небесных, а о самых простых и обыкновенных, если даже и превосходных овцах. Такова сила человеческой потребности в подчиненье! Но, не позволяя позднейшей славе исказить то, что мы в состоянье сравнить с реальной действительностью, мы не должны впадать и в противоположную крайность, не должны быть слишком придирчивы. Такой посмертный энтузиазм, как тот, что угрожает сейчас трезвости нашей оценки, конечно, не возникает на голом месте; он уходит своими корнями в действительность и, по достоверным сведениям, в большой мере был выказан уже живому. Чтобы это понять, нужно прежде всего учесть какой-то арабский неясный нам вкус, стать на ту эстетическую точку зрения, – а она практически и была определяющей, – с которой наш мальчик действительно казался настолько красивым, настолько прекрасным, что с первого взгляда его часто принимали чуть ли не за бога.

Итак, будем осторожны в словах и, не склоняясь ни к безвольной покорности молве, ни к чрезмерному критицизму, скажем, что лицо сидевшего у колодца и глядевшего на луну молодого мечтателя было приятно даже своими неправильностями. Например, ноздри его довольно короткого и очень прямого носа были слишком широки; но от этого крылья носа казались раздутыми, что придавало его лицу какое-то живое, взволнованное и неуловимо гордое выраженье, хорошо сочетавшееся с приветливостью его глаз. Не станем порицать выражения надменной чувственности, которым он был обязан толстым губам. Оно бывает обманчиво, а кроме того, как раз говоря о форме губ, мы должны сохранять угол зрения тех стран и людей. Зато мы были бы вправе назвать часть лица между ртом и носом слишком одутловатой – если бы именно это не сообщало особого обаяния уголкам рта, в которых от одного лишь смыкания губ, без всякого напряжения мышц, появлялась спокойная улыбка. Лоб в нижней своей половине, над широкими, красивого рисунка бровями, был гладок, но выпукло выда-

вался выше, под густыми, черными, забранными светлой кожаной повязкой и вдобавок украшенными миртовым венком волосами, падавшими копной на затылок, но не закрывавшими ушей, которые можно было бы назвать хорошо вылепленными, если бы не чересчур мясистые мочки, явно растянутые непомерно большими серебряными серьгами, продетыми в них еще в детстве.

Молился ли юноша в самом деле? Но для этого поза его была слишком удобна. Ему следовало бы стоять. Его бормотанье и однозвучное, вполголоса, пенье с поднятыми руками походили, скорее, на самозабвенную беседу, на тихий разговор с тем высоким светилом, к которому он обращался. Раскачиваясь, он лопотал:

– Аву… Хамму… Аоф… Аваоф… Авирам… Хаам… ми… ра… ам…

В этой импровизации смешивались самые разнообразные области и понятия, ибо если он говорил сейчас Луне вавилонские нежности, называя ее «аву» – отец, и «хамму» – дядя, то в то же время в речь его вкрадывалось имя Аврама, его истинного и мнимого предка, и, как расширенный вариант этого имени, другое, почтительно сохраненное преданием, легендарное имя законодателя – «Хамму-раби», означающее: «Мой божественный дядя величествен», а кроме того, еще междометия, которые, неся в себе понятие отца, выходили из круга свойственного прародительскому Востоку звездопоклонства и семейных воспоминаний и с запинками примерялись к тому новому, что свято вынашивалось, творилось и постигалось духом его близких.

– Яо… Аоф… Аваоф, – звучал его напев. – Ягу, Ягу! Я-а-ве-илу, Я-а-ум-илу…

И когда он так, подняв руки, раскачиваясь, кивая головой и любовно улыбаясь светящей Луне, в одиночестве пел, глядеть на него было странно и чуть ли не страшно. Занятие это, чем бы оно ни было: молитвой, лирической беседой или еще чем-то, – явно увлекало его, и при виде забытья, в которое он все полнее впадал, становилось не по себе. Участие голоса в его пенье было невелико, да и не могло быть большим. Он был незрелым и ломким, этот еще резкий, полудетский, по-юношески неполнозвучный голос. Но вдруг голос у него и вовсе пропал, сорвался неожиданно и судорожно; слова «Ягу, Ягу!» были произнесены задыхающимся шепотом, при совершенно пустых легких, которые юноша забыл наполнить воздухом, отчего сразу преобразился внешне: запала грудь, ходуном заходила брюшная мышца, съежились затылок и плечи, задрожали руки, выступили узлы плечевых мышц, и мгновенно закатились глаза – пустые белки жутковато сверкнули на лунном свету.

Надо сказать, что такой непорядок в поведенье этого мальчика удивил бы любого. Его приступ, или как там это назвать, воспринимался как неожиданность, как тревожный сюрприз, он совершенно не вязался с тем убедительным впечатленьем приветливой разумности, которое приятная, разве только чуть фатоватая внешность мальчика производила с первого взгляда. Если все это не было шуткой, го впору было спросить, на ком лежала забота о его душе, ибо в этом случае душа его, может быть, и сподобилась призвания свыше, но, несомненно, находилась в опасности. Если же все это было просто баловством и капризом, то и тогда поводов для спасенья оставалось достаточно, – а что доля игры тут, безусловно, была, явствовало из поведенья нашего юного лунолюба при вот каких обстоятельствах.

Отец

Со стороны холма и жилищ донеслось его имя: «Иосиф! Иосиф!», донеслось дважды и трижды, каждый раз с меньшего расстоянья. Он услыхал этот зов на третий раз, во всяком случае, только на третий раз признал, что слышит его, и, быстро опомнившись, пробормотал: «Вот я». Глаза его вернулись, он опустил руки и голову и застенчиво улыбнулся, прижав подбородок к груди. Это был мягкий и, как всегда, полный чувств, слегка жалующийся голос отца. Он звучал уже совсем рядом. Отец повторил, хотя уже увидел сына у колодца: «Иосиф, где ты?»

Так как на нем было длинное платье и еще потому, что неверность и призрачная ясность лунного света способствуют преувеличенным представленьям, Иаков – или Иаков бен Ицхак, как он подписывался, – казался человеком величественного, чуть ли не сверхъестественного роста, когда стоял между колодцем и деревом наставленья, ближе к дереву, испещрившему его одежды тенями своих листьев. Еще большую внушительность – то ли сознательно, то ли безотчетно – приобретал он благодаря своей позе: он опирался на длинный посох, обхватив его пальцами очень высоко, отчего просторный рукав его крупносборчатой, в узкую бледную полоску, верхней одежды, плаща из подобия шерстяного муслина, сполз с поднятой выше головы, уже стариковской руки, украшенной на запястье медным браслетом. Предпочтенному близнецу Исава было тогда шестьдесят семь лет. Его борода, негустая, но длинная и широкая, сливаясь с волосами головы у висков, торчала на щеках тонкими прядями и падала на грудь во всю ее ширину; нестриженая, незавитая, никак не причесанная и не приглаженная, она серебрилась на лунном свету. Узкие губы были видны в ней. Глубокие морщины уходили в бороду от крыльев тонкого носа. Глаза, глядевшие из-под куколя темно-узорчатой ханаанской ткани, который, закрывая наполовину лоб, падал на грудь складками и был переброшен через плечо – маленькие, карие, блестящие глаза, с дряблыми, в прожилках, нижними веками, вообще-то уже ослабевшие от старости и зоркие только душевной зоркостью, озабоченно следили за мальчиком у колодца. Подобравшийся и распахнувшийся из-за поднятых рук плащ открывал одеянье из крашеной козьей шерсти, край которого, с длинной бахромой, доставал до носков матерчатых туфель, косо спускаясь к ним слоями складок, создававшими впечатление нескольких, выглядывающих один из-под другого нарядов. Одет старик был, таким образом, плотно и основательно, хотя довольно прихотливо и неоднородно: черты восточной культуры сочетались в его платье с признаками, свойственными скорее измаильтянско-бедуинскому быту и миру пустыни.

На последний оклик Иосиф по праву не отозвался, поскольку вопрос был задан явно после того, как отец заметил его. Мальчик ограничился улыбкой, которая разомкнула его полные губы и показала блеск зубов – очень белых, какими всегда кажутся зубы при смуглом лице, но не частых, а с просветами, – и прибавил к улыбке обычные приветственные телодвиженья. Он снова поднял руки, как прежде – к луне, покачал головой и, в знак восторга и восхищенья, прищелкнул языком. Затем коснулся рукою лба, чтобы, выпрямив пальцы, опустить ее оттуда к земле, изящным и округлым движеньем; полузакрыв глаза и запрокинув голову, прижал обе ладони к сердцу, после чего, не разнимая рук, несколько раз протянул их к старику и снова приложил к сердцу, словно отдавая его отцу. Не преминул он указать пальцами и на свои глаза, а также коснуться ими колен, темени и ступней, каждый раз повторяя благоговейно-приветственное движение рук. Все это было красивой игрой, которая исполнялась, как того требовали правила хорошего воспитания, непринужденно и заученно, но в то же время с особой ловкостью и грациозностью – в них сказывался услужливый, приветливый нрав – и с неподдельным чувством. Эта задушевная, благодаря сопровождавшей ее улыбке, игра была пантомимой благочестивой покорности родителю и господину, главе рода, но оживлялась искренней радостью по поводу того, что представился случай почтить отца. Иосиф знал, что отец не всегда играл в жизни героическую и полную достоинства роль. Его тягу к величественности в речах и повадке посрамляла порой кроткая пугливость его души; он знавал часы униженья, бегства, отчаянного страха, такие переделки, в каких его не хотел представлять себе тот, кого он любил, хотя в них-то как раз и проглядывала милость господня. И даже если в улыбке этого любимца и была доля кокетства и победительной самоуверенности, то улыбался он в общем-то от радости, которую доставляли ему и приход отца, и прикрасы освещенья, и выигрышно-царственная поза старика, опершегося на длинный посох; и в ребяческом этом удовлетворенье проявилась большая слабость к внешней эффектности, независимо от ее подоплеки.

Иаков не сошел с того места, где стоял. Может быть, он заметил и хотел продлить удовольствие сына. Голос его, который мы назвали полным чувств, потому что в нем слышалась дрожь внутренней озабоченности, раздался снова. На этот раз он полувопросительно сказал:

– Дитя сидит у бездны?

Странные слова, они были произнесены неуверенно и как бы в мечтательной оплошности. Они прозвучали так, словно говорящий находит что-то неподобающее или удивительное в том, что в столь юном возрасте человек сидит у какой бы то ни было бездны; словно понятия «дитя» и «бездна» несовместимы. В действительности в этих словах звучало и хотело заявить о себе нянечье, если можно так сказать, опасение, что Иосиф, который в глазах отца был гораздо меньше и ребячливее, чем на самом деле в то время, упадет ненароком в колодец.

Мальчик улыбнулся еще шире, отчего стало видно еще больше редких его зубов, и кивнул головой вместо ответа. Но он быстро изменил выраженье своего лица, ибо второе замечанье Иакова прозвучало строже. Тот приказал:

– Прикрой свою наготу!

Подняв и округлив руки, Иосиф оглядел себя с полушутливым смущеньем, потом поспешно распутал связанные узлом рукава полотняной рубахи и натянул ее на плечи. Теперь и в самом деле могло показаться, что старик держался на некотором расстоянье от сына из-за его наготы, ибо сейчас он подошел ближе. При этом он усиленно опирался на длинный посох, поднимая и опуская его, потому что хромал. Вот уже двенадцать лет, после одного дорожного приключенья, которое он претерпел при довольно плачевных обстоятельствах, в пору великого испуга и страха, Иаков хромал на одно бедро.

Некто Иевше

Они виделись не так уж давно. Как обычно, Иосиф ужинал в благоухавшем мускусом и миррой шатре отца, с теми своими братьями, точнее сказать – сводными братьями, что как раз находились на месте: другие, присматривая за другими стадами, жили несколько поодаль, на полночь, в долине, на которую глядели горы Гевал и Гаризим, близ одного укрепленного города и священного места, называвшегося Сихем или Шекем, «затылок», а также Мабарфа, то есть «проход». С жителями Шекема Иакова связывали и религиозные дела; ибо хотя почитаемое там божество было разновидностью сирийского овчара и прекрасного владыки Адониса и того изуродованного вепрем цветущего юноши, Таммуза, которого внизу звали Усири, жертвой, но уже очень давно, во времена Авраама и сихемского первосвященника царя Мелхиседека, божество это приобрело особый духовный облик, закрепивший за ним имя Эль-эльон, Баал-берит, то есть Всевышний, Глава завета, Творец и Владыка неба и земли. Такой взгляд казался Иакову правильным и приемлемым, и он был склонен видеть в шекемском растерзанном сыне истинного всевышнего бога, бога Авраама, а в сихемитах своих единоверцев, тем более что, согласно надежному, переходившему из поколенья в поколенье преданию, сам первопришелец назвал однажды в разговоре – это была ученая беседа с содомским старостой – познанного им бога «Эль-эльон», а значит, отождествил его с Баалом и Адоном Мелхиседека. Сам Иаков, духовный внук первопришельца, много лет назад, возвратясь из Месопотамии и раскинув свой стан перед Сихемом, поставил там жертвенник этому богу. Он построил там также колодец и купил право выпаса, хорошо заплатив за него шекелями серебра.

Позднее между Сихемом и людьми Иакова пошли нелады, последствия которых оказались ужасны для города. Но мир был восстановлен, и прежние связи возобновились, так что часть скота Иакова всегда паслась на шекемских выгонах, а часть его сыновей и пастухов всегда находилась вдали от лица его из-за этих стад.

В ужине, кроме Иосифа, участвовали два сына Лии, костлявый Иссахар и Завулон, который ни во что не ставил пастушескую жизнь, но и не хотел быть землепашцем, а желал только одного – стать моряком. С тех пор как он побывал на море, в Аскалуне, он не представлял себе ничего более высокого, чем это занятие, и любил рассказывать всякие небылицы о приключеньях и о двуполых чудовищах, что жили по ту сторону вод, куда можно было добраться на корабле: о людях с бычьими или львиными головами, двуглавых, двуликих, у которых были сразу и человеческое лицо, и морда овчарки, так что они попеременно лаяли и разговаривали, о ластоногих и о всяких других диковинках… Еще ужинали в шатре Иакова расторопный Неффалим, сын Валлы, и оба отпрыска Зелфы, прямодушный Гад и Асир, который, как обычно, старался захватить лучшие куски и всем поддакивал. Что касалось единоутробного брата Иосифа, ребенка Вениамина, то он жил еще при женщинах и был слишком мал, чтобы ужинать с гостями; а сегодня в доме был гость.

Человек по имени Иевше, который называл свое место Таанак и рассказывал за едой о голубях тамошнего храма и о рыбках в его прудах, уже несколько дней находившийся в пути с черепком, поскольку таанакский градоправитель Ашират-яшур – его называли царем, но это было преувеличеньем – сплошь исписал этот черепок посланьем своему «брату», князю Газы, по имени Рифат-Баал; пожелав Рифат-Баалу, чтобы тот был счастлив в жизни и чтобы все сколько-нибудь влиятельные боги дружно воспеклись о его благе, а также о благе его дома и его детей, Ашират-яшур сообщал, что не может послать «брату» леса и денег, которых тот более или менее справедливо от него требует, поелику первого у него нет, а вторые крайне нужны ему самому, но зато посылает ему с Иевше необычайно могущественное глиняное изваяние своей личной и общетаанакской покровительницы, богини Ашеры, дабы таковое принесло ему благодать и помогло преодолеть потребность в деньгах и лесе, – так вот, этот Иевше, человек с козлиной бородкой, от шеи до лодыжек закутанный в яркую шерсть, завернул к Иакову, чтобы узнать его суждения, преломить его хлеб и переночевать у него перед дальнейшим путешествием к морю, а Иаков радушно принял гонца, попросив его только, чтобы изваянье Аштарты, фигурку женщины в шароварах, с венцом и покрывалом, охватившей обеими руками крошечные свои груди, тот держал в некотором отдалении от него, Иакова. Вообще же он встретил гостя без предубежденья, памятуя старинное предание об Аврааме, который в гневе прогнал от себя в пустыню одного дряхлого идолопоклонника, но получил за свою нетерпимость выговор от господа и вернул в свой дом ослепленного старика.

Обслуживаемые двумя рабами в свежевыстиранных полотняных балахонах, старым Мадаи и молодым Махалалиилом, сотрапезники, сидя на подушках вокруг циновки (Иаков твердо держался этого обычая отцов и слышать не хотел о том, чтобы сидеть на стульях, как то было заведено у городской знати по образцу великих царств Востока и Юга), поужинали маслинами, жареным козленком и добрым хлебом кемахом, а запили эту еду отваром из слив и изюма, поданным в медных кружках, и сирийским вином, разлитым в чаши цветного стекла. Хозяин и гость вели рассудительные беседы, к которым, во всяком случае, Иосиф прислушивался очень внимательно, – беседы частного и общественного характера насчет божественных и земных дел, а также по поводу политических слухов; о семейных обстоятельствах Иевше и его служебном положении при Ашират-яшуре, владыке города; о его путешествии, для которого он воспользовался дорогой, идущей через Изреельскую равнину и нагорье, причем по горному водоразделу ехал верхом на осле, а продолжать путь отсюда вниз, к стране филистимлян, намерен был на верблюде, приобретя его завтра в Хевроне; о ценах на скот и на зерно у него на родине; о культе Цветущего Шеста Ашеры Таанакской, и о ее «персте», то есть оракуле, через посредство которого она разрешила отправить в путь одно из своих изваяний в качестве Ашеры Дорожной, чтобы оно усладило сердце Рифат-Баала в Газе; о ее празднике, отмеченном недавно всеобщими, весьма необузданными плясками и съедением огромного количества рыбы, а также тем, что мужчины и женщины поменялись одеждами в знак провозглашенной

жрецами двуполости Ашеры, ее причастности и к женской, и к мужской стати. Тут Иаков погладил бороду и перебил гостя несколькими каверзными вопросами: кто защитит место Таанак, покуда изваяние Ашеры будет в пути; как понимать отношение путешествующего изваяния к владычице города и не нанесет ли отсутствие части ее естества заметного урона ее могуществу? На это Иевше отвечал, что если бы дело действительно так обстояло, то вряд ли бы перст Ашеры велел отправить ее в дорогу, и что по учению жрецов вся сила божества заключена в любом его изваянии. Еще Иаков мягко указал на то, что если Аширта является и мужчиной и женщиной, то есть сразу и Баалом и Баалат, и матерью богов, и царем небесным, ее следует приравнять не только к почитаемой в Синеаре Иштар, не только к Исет, почитаемой в нечистой земле Египетской, но также к Шамашу, Шалиму, Адду, Адону, Лахаме и Даму, короче говоря, к владыке мира и высочайшему богу, и получается, что дело идет в общем-то об Эльэльоне, боге Авраама, создателе и отце, а его ни в какое путешествие отправить нельзя, потому что он царит надо всем, и служат ему вовсе не тем, что едят рыбу, а только тем, что живут в чистоте и падают перед ним ниц. Но такое соображение не встретило у Иевше особого сочувствия. Подобно тому как солнце, возразил он, всегда оказывает свое действие через какое-то путеводное светило и в нем предстает, подобно тому как оно уделяет от своего света планетам, а уж они, каждая на свой лад, влияют на судьбы людей, так и божественное начало сказывается в отдельных божествах, среди которых владыка-владычица Ашират, например, являет божественную силу, как известно, в земном плодородье и выходе природы из преисподней, ежегодно превращаясь из сухого шеста в цветущий, а по такому случаю вполне уместны некоторая необузданность в еде и плясках и даже кое-какие иные, связанные с праздником Цветущего Шеста утехи и вольности, поскольку чистота присуща лишь Солнцу и неделимой прабожественности, но отнюдь не ее планетным ипостасям, и четко разграничивая понятия «чистый» и «священный», разум обнаруживает, что священность не связана или не обязательно связана с чистотой… Иаков отвечал на это очень вдумчиво: он, Иаков, не хочет никого обижать, а тем более гостя своей хижины, закадычного друга и посла могущественного царя, порицая взгляды, внушенные тому родителями и писцами таблиц. Но и Солнце – это только творенье Эльэльона, и как таковое хоть и божественно, но не является богом, что разуму и надлежит различать. Тот не в ладу с разумом и рискует прогневить ревнивого господа, кто поклоняется какому-либо его творению, а не ему самому, и гость Иевше сам расписался в том, что местные боги – это производные бога, – от более обидного обозначения, он, Иаков, из любви к гостю и вежливости воздержится. Если бог, сотворивший Солнце, путеводные знаки, планеты и землю, – бог высочайший, то он также и единственный бог, а о других в этом случае лучше вообще не говорить, не то их пришлось бы обозначить этим нежелательным именем, поскольку понятие «высочайший бог» разум должен приравнять к понятию бога единственного… Вопрос о различье и тождестве этих двух понятий, высочайшего и единственного, вызвал долгие словопрения, которые хозяин готов был вести до бесконечности и, дай ему волю, продолжал бы до полуночи или даже всю ночь. Однако Иевше перевел разговор на дела мира и его царств, на раздоры и происки, о которых он как друг и родственник ханаанского градодержца знал больше, чем обыкновенный человек: речь пошла о том, что на Кипре, который он называл Алашией, свирепствует чума, что она унесла множество людей, но не всех, как то утверждал правитель этого острова в своем письме фараону преисподней, чтобы оправдать почти полное прекращение поставок меди; что царь государства Хетта или Хатти носит имя Шуббилулима и располагает столь большой военной силой, что грозится захватить богов митаннийского царя Тушратты, хотя тот состоит в свойстве с великой фиванской династией; что вавилонский кассит стал как огня бояться ассурского первосвященника, стремящегося выйти из-под власти законодателя и основать на реке Тигре особое государство; что благодаря сирийской контрибуции фараон сильно обогатил жречество своего бога Аммуна и на эти же деньги построил Аммуну новый храм с тысячью колонн и ворот, но что довольно скоро приток этих средств

уменьшится, так как города Сирии страдают от опустошительных набегов разбойников-бедуинов, а на севере все шире распространяется хеттская держава, оспаривающая у людей Аммуна господство в Ханаане, и многие аморитские князья поддерживают этих чужеземцев в их борьбе против Аммуна. Тут Иевше подмигнул одним глазом, вероятно, затем, чтобы по-дружески намекнуть слушателям, что и Ашират-яшур не чурается такой политики, но как только перестали говорить о боге, интерес хозяина к беседе заметно убыл, разговор заглох, и сидевшие поднялись: Иевше – чтобы удостовериться, что с Астартой Дорожной ничего не стряслось, и затем лечь спать; Иаков – чтобы с посохом обойти свой стан, взглянуть на женщин и на скот в стойлах. Что касается его сыновей, то у шатра Иосиф отделился от остальных пятерых, хотя сначала собирался пойти с ними. Прямодушный Гад внезапно сказал ему:

– Убирайся, шалопай и паскудник, ты нам не нужен!

Иосифу не понадобилось долго думать, чтобы ответить:

– Ты похож на бревно, Гад, по которому еще не прошелся струг, и на бодливого козла в стаде. Если я передам твои слова отцу, он накажет тебя. А если я передам их Рувиму, нашему брату, он, по своей справедливости, задаст тебе жару. Но пусть будет так, как ты говоришь: если вы пойдете направо, я пойду налево, и наоборот. Я-то вас люблю, но вам я, увы, внушаю отвращение, а сегодня – особенно, потому что отец подал мне кусок козленка и ласково на меня поглядывал. Поэтому я одобряю твое предложение, чтобы избежать свары и чтобы вы нечаянно не впали во грех. Прощайте!

Гад слушал это с презрительным выражением лица, не поворачивая головы, но все же ему было любопытно, какой сейчас опять найдется у мальчишки ответ. Затем он сделал грубый жест и ушел с остальными, а Иосиф пошел один.

Он совершил небольшую вечернюю прогулку – если только то удрученное состоянье, в каком из-за грубости Гада, при всей удовлетворенности удачным своим ответом, находился сейчас Иосиф, позволяет назвать это хожденье словом «прогулка», обозначающим нечто все же приятно-увеселительное. Он побрел вверх по холму, по отлогому восточному склону, и, быстро достигнув гребня, откуда открывался вид на юг, увидел слева в долине белый от лунного света город, его толстые стены с четырехгранниками угловых башен и ворот, колоннаду его дворца, окруженный широкой террасой массив его храма. Он любил смотреть на город, где жило так много людей. Смутно видна была отсюда и усыпальница его семьи, купленная некогда по всем правилам Авраамом у хеттеянина Двойная Пещера, где покоился прах предков, праматери-вавилонянки и позднейших старейшин: карнизы каменных ворот двойного склепа вырисовывались у обводной стены в левой ее части; и благоговейные чувства, источником которых является смерть, смешались в его сердце с симпатией, которую внушил ему вид многолюдного города. Потом он вернулся, отыскал колодец, освежился, вымылся и умастил свое тело, после чего и начал то несколько вольное заигрывание с луной, за которым застал его озабоченный каждым его шагом отец.

Доносчик

Теперь он подошел к нему, старик, положил правую руку ему на голову, взяв посох в левую, и заглянул своими старыми, но проницательными глазами в прекрасные, черные глаза юноши, которые тот сначала поднял к нему, снова блеснув финифтью редких своих зубов, но потом опустил – и просто из почтительности, и в то же время из смутного чувства вины, связанного с приказаньем одеться. Он и вправду помешкал с одеваньем не ради приятной воздушной ванны или не только ради нее и подозревал, что отец понял, какие побужденья и представленья заставили его приветствовать небеса полуголым. Ему было действительно радостно и заманчиво открыть свою юную наготу луне, с которой он и благодаря гороскопу и по разным другим догадкам и соображениям чувствовал себя связанным, он был убежден, что это

ей понравится, и рассчитывал подкупить и расположить к себе этим ее – или высшую силу вообще. Ощущение прохладного света, коснувшегося с вечерним воздухом его плеч, он воспринял как успех ребяческих своих действий, которые нельзя назвать бесстыдными по той причине, что они имели целью жертвоприношенье стыдливости. Нужно иметь в виду, что обряд обрезания, перенятый как внешний обычай в царстве Египетском, давно приобрел в роду и кругу Иосифа особый мистический смысл. Он был установленным по требованию бога бракосочетанием человека с божеством и совершался над той частью плоти, которая представлялась средоточием ее сущности и участвовала во всех связанных с телом обетах. Мужчины часто носили или писали имя бога на своем детородном члене перед совокупленьем с женщиной. Союз с богом был половым, он заключался с вожделеющим, стремящимся к безраздельному обладанию творцом и владыкой, а потому усмирял и ослаблял человеческую мужественность, сводя ее к женственности. Кровавый жертвенный обряд обрезания в идее еще ближе к оскоплению, чем физически. Освящение плоти – это символ одновременно девственности и жертвоприношения девственности, то есть начала женского. Кроме того, Иосиф был, как он знал и ото всех слышал, красив и прекрасен, а в сознании своей красоты есть уже и без того что-то женское; и так как «прекрасный» было прилагательным, которое относили обычно прежде всего к луне, луне полной, не затемненной и чистой, так как оно было эпитетом луны, определеньем из небесной, собственно, сферы и к человеку могло быть отнесено, строго говоря, только метафорически, то для Иосифа понятия «прекрасный» и «нагой» почти сливались, и ему казалось, что он поступает умно и благочестиво, отвечая прекрасной красоте светила собственной наготой, чтобы удовольствие и восхищенье были взаимны.

Мы не беремся судить, сколь тесно или сколь отдаленно связана была известная вольность его поведения с этими туманными мыслями. Шли они, во всяком случае, от первоначального смысла культового обнажения, свидетелем которого ему еще то и дело случалось бывать, и как раз потому вызвали у него при виде отца и после отцовского замечанья смутное чувство вины. Ибо он любил духовность старика и боялся ее, прекрасно зная, что она отвергает, как греховный, почти весь тот мир представлений, с которым он, Иосиф, пусть только баловства ради, был еще связан, что она проникнута гордым сознанием доавраамовской его отсталости и всегда готова заклеймить его словом самого страшного своего осужденья, ужасным словом «идолопоклоннический». Иосиф ждал решительного и резкого выговора такого рода. Но из забот, которые, как всегда, задавал ему этот сын, Иаков выбрал другие. Он начал так:

– Право, было бы лучше, если бы дитя уже сотворило молитву и спало под защитой хижины. Мне неприятно видеть его одного среди ночи, которая становится все более глубокой, и под звездами, которые светят добрым и злым. Почему оно не присоединилось к сыновьям Лии и не пошло туда, куда пошли сыновья Валлы?

Он знал, конечно, почему Иосиф опять этого не сделал, а Иосиф знал, что только озабоченность этими известными обстоятельствами заставила отца задать подобный вопрос. Он отвечал, надув губы:

– К такому уж полюбовному соглашенью пришли мы с братьями.

Иаков продолжал:

– Случается, что лев пустыни и тот, что живет в камышах реки, ближе к соленому морю, наведывается сюда, когда бывает голоден, и ищет добычи в загонах, когда его тянет на кровь. Не далее как пять дней назад пастух Альдмодад лежал передо мною на брюхе и признался, что ночью какой-то хищный зверь задрал из молодняка двух ярок и одну уволок, чтобы сожрать. Альдмодад был чист предо мною без клятвы: он представил зарезанную овцу в крови ее, и разуму ясно было, что другую утащил лев, так что урон этот падет на мою голову.

– Он невелик, – польстил отцу Иосиф, – и ничего не значит при том богатстве, каким наделил моего господина в Месопотамии возлюбивший его господь.

Иаков опустил голову и вдобавок склонил ее несколько набок в знак того, что он не кичится благословением, хотя оно дало себя знать не без мудрого содействия с его стороны. Он ответил:

– Кому много было дано, у того может быть и отнято многое. Если господь сделал меня серебряным, то он может сделать меня глиняным и бедным, как выброшенный черепок; ибо прихоть бога могущественна и пути его справедливости нам непонятны. У серебра бледный свет, – продолжал он, стараясь не смотреть на луну, на которую зато Иосиф сразу же бросил косой взгляд. – Серебро – это печаль, а самый жестокий страх страшащегося – это легкомыслие тех, о ком он печется.

Мальчик сопроводил просительный взгляд утешающим и ласковым жестом, которого Иаков не дал закончить, сказав:

– Подкравшийся лев растерзал ягнят старой матери вон там, на выгоне, в ста шагах отсюда или двухстах. А дитя ночью в одиночестве сидит у колодца, сидит неосторожно, нагое, беспечное, беззащитное, забыв об отце. Разве ты создан для опасности и снаряжен для сраженья? Разве ты похож на своих братьев Симеона и Левия, да хранит их бог, которые с криком на устах и с мечом в руках бросаются на врагов и уже сожгли город аморитян? Или ты, как твой дядя Исав, живущий на диком юге в Сеире, степняк и охотник, и у тебя красная кожа, и ты космат, как козел? Нет, ты благочестивое дитя хижины, ибо ты плоть от плоти моей, и когда Исав подходил к броду с четырьмя сотнями человек и душа моя не знала, чем все это кончится перед господом, впереди я поставил служанок с детьми их, твоими братьями, за ними Лию с ее сыновьями, а тебя – тебя я поставил позади всех вместе с Рахилью, твоею матерью…

Глаза его были уже полны слез. Имя жены, которую он любил больше всех на свете, Иаков не мог произнести без слез, хотя прошло уже восемь лет с тех пор, как ее непонятным образом отнял у него бог, и голос его, и так-то всегда взволнованный, всхлипнул и задрожал.

Юноша протянул к нему руки, а потом поднес сложенные ладони к губам.

– Ах, как напрасно, – сказал он с нежным упреком, – тоскует сердце папочки моего и милого господина и ах, как преувеличены его опасенья! Когда гость простился с нами, чтобы проведать драгоценное свое изваянье, – он насмешливо улыбнулся, чтобы порадовать Иакова, и прибавил: – которое показалось мне довольно бедным, бессильным и жалким, ничем не лучше грубых гончарных изделий на рынке…

– Ты его видел? – перебил сына Иаков. Даже это было ему неприятно и омрачило его.

– Я попросил гостя показать его мне перед ужином, – сказал Иосиф, презрительно выпячивая губы и пожимая плечами. – Работа средней руки, и бессилье прямо-таки написано у этой фигурки на лбу… Когда вы закончили беседу, ты и гость, я вышел с братьями, но один из сыновей Лииной служанки – кажется, это был честный и прямодушный Гад – предложил мне держаться от них подальше и причинил мне некоторую душевную боль, назвав меня не моим именем, а ненастоящими, дурными именами, на которые я не отзываюсь…

Нечаянно и вопреки своему намерению сбился он на наушничество, хотя знал за собой эту самому же ему неприятную склонность, искренне желал ее побороть и только что было успешно превозмог. При его неладах с братьями безудержность его сообщительности как раз и создавала порочный круг, отделяя его от братьев и сближая с отцом, эти нелады ставили Иосифа в промежуточное, подстрекавшее к ябедничеству положенье, ябедничество, в свою очередь, обостряло разрыв, так что трудно было сказать, в чем корень зла – в неладах или в ябедничестве, но как бы то ни было, старшие уже не могли глядеть на сына Рахили, не исказившись в лице. Первопричиной раздора было, несомненно, пристрастие Иакова к этому ребенку – такой объективной справкой мы не хотим обидеть этого человека чувства. Но чувство по природе своей склонно к необузданности и к избалованному самоублажению; оно не хочет таиться, оно не признает умолчания, оно старается показать себя, заявить о себе, «выставиться», как мы говорим, перед всем миром, чтобы занять собой всех и вся.

Такова невоздержность людей чувства; а Иакова еще поощряло в ней господствовавшее в его преданьях и в его роду представление о невоздержности самого бога, о его величественной прихотливости во всем, что касается чувств и пристрастий: предпочтение, оказываемое Эль-эльоном отдельным избранникам совсем незаслуженно или не совсем по заслугам, было царственно, непонятно и по человеческому разумению несправедливо, оно было высшей волей, которую надлежало слепо, с восторгом и страхом, чтить, лежа во прахе; и сознавая, – сознавая, правда, в смиренье и страхе, – что и сам он является предметом такого пристрастия, Иаков в подражание богу всячески потрафлял своему пристрастью и давал ему полную волю.

Избалованная несдержанность человека чувства была наследством, доставшимся Иосифу от отца. Нам придется еще говорить о его неспособности обуздывать свои порывы, о недостатке у него такта, оказавшемся для него таким опасным. Это он, девяти лет, ребенком еще, пожаловался отцу на буйного, но доброго Рувима, когда тот, вспылив из-за того, что после смерти Рахили Иаков раскинул постель не у матери Рувима Лии, которая с красными своими глазами притаилась, отвергнутая, в шатре, а у ставшей тогда любимой женой служанки Валлы, сорвал отцовское ложе с нового места и с проклятьями его истоптал. Это было сделано сгоряча, ради Лии, из оскорбленной сыновней гордости, и раскаянье не заставило себя ждать. Можно было тихонько водворить постель на прежнее место, так что Иаков ни о чем не узнал бы. Но Иосиф, оказавшийся свидетелем провинности Рувима, поспешил сообщить о ней отцу, и с этого часа Иаков, который и сам обладал первородством не от природы, а лишь номинально и юридически, подумывал о том, чтобы проклясть Рувима и лишить его первородства, передав, однако, этот чин не следующему по старшинству, то есть не Симеону, второму сыну Лии, а по полному произволу чувства – первенцу Рахили, Иосифу.

Братья были несправедливы к мальчику, утверждая, что его болтливость имела целью такие решенья отца. Иосиф просто не умел молчать. Но что и в следующий раз, зная уже об отцовском намеренье и об упреке братьев, он снова не сумел промолчать, это было еще непростительнее и подкрепило подозрение старших сильнейшим образом. Немногим известно, как Иаков узнал о том, что Рувим «пошутил» с Валлой.

То была история, гораздо худшая, чем история с постелью, и случилась она еще до того, как они осели возле Хеврона, на одной из стоянок между Хевроном и Вефилем. Рувим, которому был тогда двадцать один год, не сумел под напором переполнявших его сил воздержаться от жены своего отца – той самой Валлы, на которую он так разозлился из-за отставки Лии. Он подглядел, как она купалась, – сначала случайно, потом – ради удовольствия унизить ее без ее ведома, затем – с возрастающим вожделеньем. Грубое, порывистое желанье овладело этим сильным юношей при виде зрелых, но искусно ухоженных прелестей Валлы, ее упругих еще грудей, ее изящного живота, и похоти его не могла утолить ни одна служанка, ни одна послушная любому его знаку рабыня. Он прокрался к побочной и тогда любимой жене отца, бросился на нее, и если не овладел ею силой, то соблазнил ее, как ни трепетала она перед Иаковом, полнотой своей силы и молодостью.

Из этой сцены страсти, страха и преступленья маленький Иосиф, праздно, хотя и без всякого намеренья шпионить, повсюду слонявшийся, подслушал достаточно много, чтобы с простодушным воодушевленьем, как странную и любопытную новость, сообщить отцу, что Рувим «шутил» и «смеялся» с Валлой. Он употребил эти слова, в прямом своем смысле не выражавшие всего, что он понял, но своим вторым, обиходным значением выразившие все. Иаков побледнел и стал тяжело дышать. Спустя несколько минут Валла лежала в ногах у главы рода и со стонами признавалась в содеянном, раздирая ногтями груди, которые смутили Рувима и были теперь навсегда осквернены и неприкосновенны для ее повелителя. А затем в ногах у него лежал сам преступник, опоясанный в знак полного своего провала и позора одной дерюгой, и с искреннейшим сокрушеньем, подняв руки и уткнув в землю посыпанную пылью голову, внимал величавой грозе отцовского гнева, над ним бушевавшей. Иаков назвал

его Хамом, осквернителем отца своего, змеем хаоса, бегемотом и бесстыжим гиппопотамом: в последнем эпитете сказалось влияние египетского поверья, будто у гиппопотамов существует мерзкий обычай убивать своих отцов и насильственно совокупляться со своими матерями. Изображая дело так, будто Валла действительно приходится матерью Рувиму, только потому, что он, отец его, сам с нею спал, громыхавший Иаков проникся древним и смутным представленьем, что, совокупляясь с собственной матерью, Рувим хотел стать господином над всеми и всем, – и назначил ему как раз противоположное. С простертыми руками отнял он у стонавшего Рувима его первородство – только, правда, отнял это почетное звание, но покамест не передал его дальше, так что с тех пор в этом вопросе царила неопределенность, при которой величественно-откровенное пристрастие отца к Иосифу заменяло до поры до времени всякие юридические факты.

Любопытно, что Рувим не только не затаил злобного чувства к мальчику, но относился к нему терпимей, чем все братья. Он совершенно справедливо не считал его поступка просто злым, внутренне признавая за братом право заботиться о чести отца, тем более что тот так любит его, и оповещать Иакова о делах, постыдность которых он, Рувим, вовсе не собирался оспаривать. Сознавая свою неправоту, Рувим был добродушен и справедлив. Кроме того, будучи при своей большой физической силе, как все Лиины сыновья, довольно дурен собой (слабые глаза он тоже унаследовал от матери и часто, хотя и без пользы, мазал мазью гноившиеся веки), Рувим ценил общепризнанную миловидность Иосифа больше, чем другие, он находил в ней по контрасту с собственной неуклюжестью что-то трогательное и чувствовал, что переходящее наследство глав рода и великих отцов, избранность, благословенье божье досталось скорее этому мальчику, чем ему или кому-либо другому из двенадцати братьев. Поэтому отцовские желания и замыслы, связанные с вопросом о первородстве, были понятны Рувиму, хотя и наносили тяжелый удар ему самому.

Таким образом, у Иосифа были основания пригрозить сыну Зелфы, тоже, впрочем, благодаря своему прямодушию не самому худшему из братьев, справедливостью Рувима. Рувим не раз уже, хотя и пренебрежительно, заступался за Иосифа перед братьями, неоднократно защищал его от обиды силой своих рук и бранил их, когда они, возмущенные очередным его предательством, собирались жестоко с ним рассчитаться. Ибо из ранних неприятностей с Рувимом этот дуралей не извлек никакого урока, великодушие брата тоже не сделало его лучше, и когда Иосиф подрос, он стал еще более опасным соглядатаем и доносчиком, чем в детстве. Опасным и для себя самого, и главным образом для себя самого; усвоенная им роль с каждым днем обостряла его отлученность и обособленность, мешала его счастью, взваливала на него бремя ненависти, нести которое было противно его природе, и давала ему повод бояться братьев, а это оборачивалось новым искушеньем обезопасить себя от них, подольстившись к отцу, – и все это продолжалось, несмотря на то что Иосиф не раз давал себе слово придерживать язык, чтобы этим простым способом оздоровить свои отношенья с десятью братьями, ни один из которых не был злодеем и которые, составляя вместе с ним и его маленьким братом число зодиакальных созвездий, были, в сущности, как он чувствовал, связаны с ним священной связью.

Напрасные обещания! Стоило Симеону и Левию, людям горячим, затеять невыгодную для семьи драку с чужими пастухами, а бывало, и с горожанами; стоило Иегуде, которого мучила Иштар, гордому, но несчастному человеку, не находившему в том, что было для других смехом, решительно ничего смешного, запутаться в неугодных Иакову тайных приключениях с дочерьми страны; стоило кому-либо из братьев провиниться перед Единственным и Всевышним, тайком покадив изваянью, что ставило под угрозу плодовитость скота и навлекало на него болезни – оспу, паршу или веретенницу; стоило сыновьям, здесь или под Шекемом, попытаться при продаже выбракованного скота выторговать и тайком от Иакова разделить между собой какой-то дополнительный барыш – отец узнавал это от своего любимчика.

Он узнавал от него даже неправду, совершеннейший вздор, но склонен был верить прекрасным глазам Иосифа. Тот утверждал, что некоторые братья вырезали у живых овец и баранов куски мяса и тут же съедали их; так, по его словам, поступали все четыре сына наложниц, но чаще других – Асир, который и в самом деле отличался прожорливостью. Аппетит Асира был единственным доводом в пользу этого обвинения, которое и само по себе казалось весьма неправдоподобным и никак не могло быть доказано. Объективно это была клевета. С точки зренья Иосифа, поступок его не вполне, может быть, заслуживал такого названия. Вероятно, эта история ему приснилась; вернее, он заставил ее присниться себе в момент резонного ожидания порки, чтобы с помощью этой небылицы заручиться отцовской защитой, а потом уже не мог и не хотел отличить правду от наважденья. Но понятно, что в этом случае возмущенье братьев было особенно бурным. Оно обладало привилегией невиновности, на которую напирало с несколько чрезмерным ожесточеньем, словно в ней можно было все-таки сомневаться и в виденьях Иосифа содержалась какая-то доля правды. Больнее всего нас уязвляют обвиненья, которые хоть и вздорны, но не совсем…

Имя

Иаков вспылил было, услыхав о дурных именах, которыми Гад назвал Иосифа, ибо старик готов был сразу же усмотреть в них преступное оскорбленье священного своего чувства. Но быстро повеселевший Иосиф сумел так мило и ловко отвлечь и успокоить отца, заговорив о другом, что гнев Иакова, не успев разгореться, остыл, и он мог уже только глядеть, мечтательно улыбаясь, в черные, чуть раскосые, лукаво сузившиеся глаза говорившего.

– Это пустяки, – слышал он резкий и хрупкий голос, который любил, потому что многое в нем напоминало голос Рахили. – Я по-братски побранил его за грубость, и поскольку он принял к сведенью мои увещанья, это его заслуга, что мы разошлись полюбовно. Я ходил на холм поглядеть на город и на двойной дом Ефрона; здесь я омылся водой и молитвой, а что касается льва, которым папочка изволил мне пригрозить, распутника преисподней, исчадья черной луны, то он остался в зарослях Иардена (название реки Иосиф произнес не так, как мы, с другими гласными; он сказал: «Иарден», – с небным, но не раскатистым «р» и с довольно открытым «е») и нашел свой ужин в лощинах под обрывом, а дитя не видело его ни вблизи, ни вдали.

Он назвал самого себя «дитя», зная, что особенно растрогает отца этим прозвищем, сохранившимся от более ранней поры. Он продолжал:

– Но даже если бы он и пришел, колотя хвостом, и даже если бы голос его гремел от голода, как голоса серафимов, когда они поют свою хвалебную песнь, мальчик ни чуточки не испугался бы его ярости или только чуть-чуть. Ведь он, конечно, опять набросился бы на ягненка, разбойник, если бы Альдмодад не прогнал его трещотками и огнями, а детеныша человеческого зверь мудро обошел бы стороной. Разве мой папочка не знает, что звери боятся и избегают человека, потому что бог наделил его духом разума и указал ему разряды, на которые все делится, разве не знает он, как возопил Семаил, когда человек, созданный из праха земного, назвал всякое творенье, словно сам был повелителем его и творцом, и как изумились, как опустили глаза все слуги огненные, которые только и знают, что хором кричат на разные голоса «свят, свят!», а ничего не смыслят в разрядах и подразрядах? Звери тоже стыдятся нас и поджимают перед нами хвост, потому что мы знаем их и, владея их именем, лишаем силы рычащую их единичность. Посмей он явиться сюда со злобно раздутыми ноздрями, я бы все равно не потерял голову от ужаса и не оробел бы перед его загадкой. «Имя твое, наверно, Жажда Крови? – спросил бы я, чтобы над ним подшутить. – Или, может быть, тебя зовут Смертельный Прыжок?» Но потом я приосанился бы и воскликнул: «Лев! Ты – лев, вот кто ты по своему разряду и подразряду, и тайна твоя мне открыта, и видишь, мне ничего не стоит

ее назвать». И он заморгал бы глазами от страха перед именем, он сник бы перед словом и убрался бы прочь, не в силах ответить мне. Ведь он же полный невежда и понятия не имеет о письменных принадлежностях…

Иосиф начал играть словами, в чем всегда находил удовольствие, но сейчас он хотел этим, точно так же как и предшествовавшей похвальбой, рассеять отца. Имя его своим звучанием напоминало слово «сефер», книга, письменная принадлежность, – к неизменному его удовлетворению, ибо, в отличие от всех своих братьев, ни один из которых писать не умел, Иосиф любил это занятие и был в нем настолько искусен, что вполне мог бы служить писцом в таких местах скопления документов, как Кириаф-Сефер или Гевал, если бы можно было представить себе, что Иаков одобрит подобную деятельность.

– Пусть папочка, – продолжал он, – приблизится, пусть он непринужденно и удобно сядет рядом с сыном у бездны, вот здесь, например, на краю, а грамотное это дитя село бы несколько ниже, у его ног, что дало бы довольно приятный порядок их размещенья. Затем дитя развлекло бы своего господина, рассказав ему одну небольшую сказку-басню об имени, которую оно выучило и может занимательно изложить. Во времена поколений потопа ангел Семазаи увидел на земле одну девицу, которую звали Ишхара, и, обезумев от ее красоты, сказал ей: «Послушайся меня!» А она сказала в ответ: «Не смей и надеяться, что я тебя послушаюсь, если ты не откроешь мне прежде то настоящее и неизменное имя бога, силой которого ты возносишься, когда произносишь его». Обезумевший гонец Семазаи и вправду открыл ей это имя, до того ему не терпелось, чтобы она послушалась его. Но как думает папочка, что сделала Ишхара, как только завладела именем, и каким образом непорочная эта девушка оставила в дураках назойливого гонца? Это самое интересное место в моей истории, но, увы, я вижу, что папочка не слушает, что уши его закрыты мыслями и он погрузился в раздумья?

Действительно, Иаков не слушал, он «задумался». Это была на редкость выразительная задумчивость, воплощенье задумчивости, задумчивость, так сказать, образцовая, высшая степень патетически-сосредоточенной отрешенности, – тут уж он ничего не слышал; если уж он задумался, то это должна была быть настоящая, видная и за сто шагов, великолепная, могучая задумчивость, чтобы каждому было ясно, что Иаков погрузился в раздумье, больше того, чтобы каждый только сейчас вообще узнал, что такое подлинная задумчивость, и благоговел перед этим состояньем и этой картиной: старик, обеими руками опершийся на высокий посох, склоненная к плечу голова, полные сокровенно-мечтательной грусти губы в серебряной бороде, карие, старческие, упорно роющиеся в глубинах воспоминаний и мыслей глаза, их глухой, обращенный внутрь взгляд снизу вверх, почти теряющийся в нависших бровях… Людям чувства свойственна внешняя выразительность, ибо она вытекает из тщеславия чувства, которое откровенно и без стесненья о себе заявляет; выразительность – это порожденье большой и нежной души, где слабость и смелость, бесстыдство и благородство, естественность и нарочитость сплавляются в актерство высшей марки, которое внушает людям благоговенье, хотя и слегка веселит их. Иакову была очень свойственна внешняя выразительность – к радости Иосифа, любившего взволнованную эту приподнятость и ею гордившегося, но к испугу и страху всех других, кто сталкивался с ним в жизни, и особенно остальных его сыновей, которые при размолвках с отцом ничего так не боялись, как именно этой выразительности. Так было с Рувимом, когда ему пришлось держать ответ перед стариком по поводу истории с Валлой. И хотя страх и благоговение перед выспренней выразительностью были тогда глубже и безотчетней, чем у нас, обыкновенный человек, которому грозили такие эффекты, и тогда проникался тем обывательским защитным чувством, которое мы выразили бы словами: «Бог ты мой, это не доведет до добра!»

Яркая выразительность душевных движений Иакова, и взволнованность его голоса, и высокопарность его речи, и торжественность его повадки вообще – была связана с той его чертой, которой объяснялось также столь свойственное его лицу живописное выражение задум-

чивости. Это была склонность связывать мысли, настолько подчинившая себе внутреннюю его жизнь, что стала прямо-таки ее формой, и его мышленье почти совсем ушло в такие ассоциации. На каждом шагу душу его поражали, отвлекали и далеко увлекали соответствия и аналогии, сливавшие в одно мгновенье прошлое и обещанное и придававшие взгляду его как раз ту расплывчатость и туманность, которая появляется в минуты раздумья. Это был род недуга, но недуг этот не был личным его уделом, он был, хотя и в разной степени, очень широко распространен, и можно сказать, что в мире Иакова духовное достоинство и «значенье» – употребляя слово «значенье» в самом прямом смысле, – определялось богатством мифических ассоциаций и силой, с какой они наполняли мгновение. В самом деле, как странно, как выспренне и многозначительно прозвучали слова старика, когда он намеком выразил свое опасение, что Иосиф упадет в водоем! А получилось так потому, что Иаков не мог подумать о глубине колодца, чтобы к этой мысли не примешалась, углубляя и освящая ее, идея преисподней и царства мертвых, – идея, которая играла важную роль, правда, не в религиозных его воззрениях, но, как древнейшее мифическое наследство народов, в глубинах его души и фантазии, – представление о дольней стране, где правил Усири, Растерзанный, о местопребывании Намтара, бога чумы, о царстве ужасов, родине всех злых духов и повальных болезней. Это был мир, куда погружались небесные светила после захода, чтобы в назначенный час снова подняться, но ни одному смертному, проделавшему путь в эту обитель, вернуться оттуда не удавалось. Это был край грязи и кала, но также золота и богатств; лоно, куда бросали зерно и откуда оно всходило питательным злаком, страна черной луны, зимы и обуглившегося лета, куда спустился и ежегодно спускался растерзанный вепрем вешний овчар Таммуз, после чего земля переставала родить и, оплаканная, скудела до той поры, покуда Иштар, его супруга и мать, не отправлялась на поиски его в ад, не ломала пыльных запоров его застенка и с великим смехом не выводила из ямы возлюбленного красавца, владыку новорасцветшей флоры.

Как было не трепетать голосу Иакова, как мог его вопрос не приобрести странного и многозначительного отголоска, если он, пусть не умом – чувством, видел в колодце вход в преисподнюю, если все эти и еще иные образы ожили в нем при слове «бездна»? Какой-нибудь глупец и невежда, человек ничтожной души, может быть, и произнес бы такое слово бездумно и невзначай, не имея в виду ничего, кроме самого близкого и конкретного. Повадке Иакова оно придало величавость и духовную торжественность, оно сделало ее чуть ли не устрашающе выразительной. Невозможно передать, как ужаснулся провинившийся Рувим, когда отец в свое время бросил ему в лицо недоброе имя Хама! Ибо не таков был Иаков, чтобы употребить это бранное прозвище только как слабый намек. Волей могучего его духа настоящее растворилось, и притом самым жутким образом, в прошлом, однажды случившееся вступило в полную силу, и сам он, Иаков, слился с Ноем, униженным, поруганным, обесчещенным сыновней рукой отцом; и Рувим заранее знал, что так случится, что он и вправду будет Хамом, валяющимся в ногах у Ноя, и именно поэтому его так ужаснула предстоявшая сцена.

Ну, а сейчас причиной столь очевидной задумчивости старика были воспоминанья, к которым побудила его болтовня сына об «имени», – томительные, как сон, возвышенные и страшные воспоминания тех давних дней, когда он, в великом страхе телесном, готовясь к встрече с обманутым и, несомненно, жаждавшим мести дикарем-братом, так страстно желал обрести духовную силу и боролся за имя с тем, особенным человеком, что напал на него. Томительный, ужасный, исполненный сладострастья сон отчаянной прелести, но не из тех веселых и мимолетных снов, от которых ничего не остается, а до того осязаемый, до того явственный, что от него осталось два следа на всю жизнь, как остаются на суше дары моря в часы отлива: увечье вертлюжного сустава бедра, на которое Иаков и хромал с той поры, как некто вывихнул его в схватке, и, во-вторых, имя – но не имя этого странного человека: оно не было открыто даже на заре, даже под угрозой мучительнейшей задержки, как ни донимал незнакомца, как ни наседал на него запыхавшийся Иаков, а его, Иакова, собственное, другое, вто-

рое имя, прозвище, которое дал ему в бою незнакомец, чтобы Иаков отпустил его до восхода солнца и уберег от мучительного опозданья, почетный титул, которым с тех пор величали Иакова, когда хотели ему польстить или вызвать у него улыбку – Израиль, то есть «Бог ведет войну»… Он снова видел перед собой иавокский брод, тот заросший кустами берег, где он, Иаков, пребывал в одиночестве, после того как уже перевел через поток женщин, одиннадцать сыновей и скот, предназначенный в искупительный дар Исаву; видел тревожное, в тучах, небо той ночи, когда он, между двумя попытками задремать, полный тревоги, как это небо, бродил по берегу, еще дрожа от объясненья с одураченным отцом Рахили, которое, впрочем, сошло, с помощью бога, благополучно, и уже терзаясь мыслью о приближенье еще одного обманутого и обиженного. Как он молил элохимов помочь ему, как он прямо-таки вменял им это в обязанность! И незнакомца, с которым он, бог весть почему, нежданно-негаданно вступил в борьбу не на жизнь, а на смерть, он тоже увидел сейчас вплотную перед собой в ярком свете выплывшей вдруг из-за туч тогдашней луны: его широко расставленные, немигающие воловьи глаза, его лицо, подобное, как и плечи, лощеному камню; и в сердце Иакова снова вошло что-то от той жестокой радости, которую он тогда ощущал, выпытывая у него имя кряхтящим шепотом… Как был он силен! Отчаянно, как то может только присниться, силен и вынослив, такие неожиданные запасы силы открылись в его душе. Он держался всю ночь, до зари, пока не увидел, что незнакомец запаздывает, пока тот смущенно не попросил его: «Отпусти меня!» Ни один из них не одолел другого, но разве это не значило, что верх одержал Иаков, который ведь не был каким-то особенным человеком, а был человеком здешним, рожденным от семени человеческого? Иакову казалось, что волоокий усомнился в этом. Жестокий удар в бедро походил на испытание. Нанося его, боровшийся, может быть, хотел установить, действительно ли перед ним подвижный сустав, а не неподвижное сочлененье, как у тех, кто подобен ему и никогда не садится… А потом незнакомец умудрился не открыть своего имени, но зато нарек имя Иакову. Так же отчетливо, как тогда, старик мысленно слышал сейчас высокий металлический голос, который сказал ему: «Отныне имя тебе будет Израиль», – после чего он, Иаков, выпустил из рук своих обладателя этого особенного голоса, так что тот, надо надеяться, все-таки поспел с грехом пополам…

О дурацкой земле египетской

Закончил свои размышленья и очнулся от отрешенности величавый этот старик не менее выразительно, чем им предался. Глубоко вздохнув, со степенным достоинством, он выпрямился, стряхнул с себя задумчивость и, подняв голову, огляделся по сторонам, словно проснулся и теперь явно собирался с мыслями, возвращаясь к действительности. Приглашение Иосифа присесть рядом с ним было, казалось, пропущено мимо ушей. Да и не время было сейчас рассказывать забавные сказки, как пришлось, к стыду своему, признать Иосифу. Старику нужно было еще серьезно поговорить с ним. Лев был не единственной заботой Иакова. Иосиф дал повод и для других опасений, и ему ничего не было спущено. Он услыхал:

– Далеко внизу есть страна, страна служанки Агари, она зовется еще страною Хама или черной, дурацкая земля Египетская. Люди ее черны душой, хотя и красноваты лицом, и выходят старыми из материнского чрева, а поэтому младенцы их похожи на маленьких стариков и уже через час начинают болтать о смерти. Они, как я слышал, проносят по улицам под бой барабанов и звуки струн мужеский член своего бога длиною в три локтя и блудят в могилах с нарумяненными мертвецами. Все, как один, они надменны, печальны и похотливы. Одеваются же они согласно проклятию, что пало на Хама, которому велено было ходить нагим, оголив срам, ибо тонкий, как паутина, холст лишь прикрывает их наготу, но не прячет ее, и этим они еще похваляются, утверждая, что носят сотканный воздух. Ибо не стыдятся они плоти своей, и нет у них ни слова «грех», ни такого понятия. Животы своих мертвецов они

начиняют пряностями, а вместо сердца по праву кладут изваянье навозного жука. Они богаты и бесстыдны, как люди Содома и Аморы. Им ничего не стоит раскинуть постель у постели соседа или обменяться женами. Если женщина, проходя по рынку, увидит юношу, который вызовет у нее желание, она ложится с ним. Они и сами как животные, и поклоняются животным в глубине своих древних храмов, и я слыхал, что одна девственница отдалась там на глазах у всего народа козлу по имени Биндиди. Одобряет ли сын мой эти обычаи?

Понимая, каким его проступком вызваны такие речи, Иосиф опустил голову и оттопырил нижнюю губу, как маленький мальчик, которого бранят. За покаянно-обиженным выраженьем лица он скрывал, однако, усмешку; он знал, что нравы Мицраима Иаков изобразил слишком обобщенно, односторонне и сгустив краски. После нескольких мгновений сокрушенного молчания он, прежде чем ответить, просительно поднял глаза, стараясь найти в отцовских глазах первый проблеск примирительной улыбки, и даже попытался вызвать ее осторожным сближеньем, то смело выставляя напоказ, то вновь пряча собственную веселость. Глаза Иосифа уже походатайствовали за него, когда он сказал:

– Если там внизу, дорогой господин мой, такие порядки, то, конечно, одобрить их несовершенное это дитя остережется в душе своей. Тем не менее мне кажется, что тонкость египетского полотна и то, что оно как воздух, свидетельствует об искусности этих дряхлых навозных жуков в ремесле и могло бы, с другой стороны, при известных условиях, говорить и в их пользу. И если они не стыдятся плоти своей, то человек, склонный к чрезмерной снисходительности, мог бы, наверно, заметить в их оправданье, что они по большей части довольно худы и поджары, а у жирной плоти больше причин для стыда, чем у тощей, потому что…

Теперь сохранять серьезность должен был Иаков. Он отвечал голосом, в котором осуждающее нетерпенье и нежность взволнованно боролись друг с другом:

– Ты говоришь, как дитя! Ты умеешь складно изъясняться, и речь твоя завлекательна, как речь торговца, хитро набивающего цену верблюду, но смысл ее – это чистейшее ребячество. Не хочу думать, что ты решил посмеяться над моим страхом, а я трепещу от страха, что ты вызовешь недовольство господа и навлечешь его гнев на себя и на Авраамово семя. Глаза мои видели, что ты сидел нагой при луне, как будто всевышний не вложил в наше сердце разуменья греха, как будто на этих высотах ночи весны совсем не прохладны после дневного зноя и ты не можешь ночью простыть и замертво свалиться от лихорадки, прежде чем запоет петух. Поэтому я хочу, чтобы ты сейчас же надел поверх рубахи верхнее платье по благочестному обычаю детей Сима. Ведь оно шерстяное, а со стороны Гилеада дует ветер. И я хочу, чтобы ты не пугал меня, ибо глаза мои видели еще кое-что, и я боюсь, что они видели, как ты посылал звездам воздушные поцелуи…

– Нет, нет! – воскликнул Иосиф, не на шутку испугавшись. Он вскочил с края колодца, чтобы надеть свой коричнево-желтый, длиной до колен халат, поднятый и поданный ему отцом; но одновременно стремительный этот подъем был, казалось, его отпором подозрению старика, которое нужно было опровергнуть во что бы то ни стало – и всеми средствами. Будем внимательны, тут все было очень характерно! Ассоциативная многослойность мышления Иакова сказалась в том, как он в одном упреке соединил три: в гигиенической неосторожности, в недостатке стыдливости и в религиозном атавизме. Последний был самым глубоким и самым неприятным слоем этого комплекса тревог, и, наполовину просунув обе руки в рукава халата и от волнений не находя его верхнего выреза, Иосиф своей борьбой с одеждой старался нагляднее показать, как важно ему отречься от действий, которые он тут же сумел самым лукавым образом оправдать.

– Вот уж нет! Вот уж чего не было, так не было! – уверял он отца, пытаясь продеть свою красивую и прекрасную голову в вырез халата; и чтобы придать своему протесту большую убедительность изысканностью словесной, Иосиф прибавил:

– Сужденье папочки, право, огорчительно отклонилось от истины!

Взволнованно оправив халат движением плеч и одернув его обеими руками, он сбросил с головы растрепавшийся миртовый венок и стал, не глядя, завязывать тесемки, которыми стягивался халат под шейным вырезом.

– О воздушных поцелуях не может быть и… Неужели я сотворил бы такое зло? Пусть господин мой соблаговолит разобраться в моих оплошностях, и он убедится, что они ничтожны! Я глядел вверх, это верно. Я видел, как лучится, как великолепно плывет по небу светило ночи, и глаза мои, израненные огненными стрелами солнца, купались в отдохновенно-прохладном ночном сиянье. Ибо, как поется в песне и как передают люди из уст в уста:

Чтоб мерили время твои перемены,
Он брачным союзом связал тебя с ночью,
О Син, и заставил сиять и украсил
Венцом торжество твоего завершенья.

Иосиф произнес это нараспев, стоя на одну ступеньку выше, чем старик, вытянув вперед, ладонями вверх, кисти рук и при каждом первом полустишии наклоняя туловище в одну сторону, а при каждом втором – в другую.

– Шапатту, – сказал он. – Это день торжества завершенья, день красоты. Он близок, он наступит завтра или назавтра после завтрашнего дня. И в субботу я даже украдкой, даже невзначай не стану посылать воздушных поцелуев мерилу времени, ведь сказано же, что сияет оно не само по себе, а заставил его сиять и дал ему венец Он…

– Кто? – спросил Иаков тихо. – Кто заставил его сиять?

– Мардук-Бел! – опрометчиво выпалил Иосиф, но тотчас же, отрицательно качая головой, протянул: «Э… э…» – и продолжил:

– …Как называют его в историях. Однако, – и папочка мой отлично знает это и без жалкого своего дитяти, – это владыка богов, более могучий, чем всякие ануннаки и местные баалы, бог Авраама, побивший змея и сотворивший тройной мир. Если он, разозлившись, отвернется, он уже не повернет шеи обратно, а если разгневается, ни один бог не воспротивится его ярости. Он великодушен и всеведущ, нечестивцы и грешники – это зловоние для его носа, но того, кто вышел из Ура, он возлюбил и поставил меж ним и собою завет, что будет богом ему и его семени. И благословение бога перешло к Иакову, моему господину, заслуженно носящему, как известно, прекрасное имя – званье Израиля, а он великий и рассудительный вестник и вот уж не станет учить своих детей посылать звездам воздушные поцелуи, которые причитались бы единственно господу, если ошибочно предположить, что посылать ему воздушные поцелуи прилично, но поскольку такое предположенье нелепо, то можно сказать, что сравнительно все же приличней посылать их сияющим звездам. Но хотя это и можно сказать, я этого не скажу, и если я поднес пальцы ко рту для воздушного поцелуя кому бы то ни было, пусть не придется мне больше подносить их ко рту, чтобы есть, и пусть я умру голодной смертью. Но я и тогда откажусь есть и предпочту умереть голодной смертью, если папочка сейчас же не устроится поудобней и не сядет рядом с сыном на краю бездны. Тем более что господин мой все стоит и стоит на ногах, а ведь бедро у него поражено священной слабостью, и все прекрасно знают, сколь своеобразным способом он ее приобрел…

Он осмелился спуститься к Иакову и осторожно обнять его за плечи в уверенности, что обворожил и смягчил его своей болтовней; и старик, который, играя висевшей у него на груди каменной печаткой, все еще стоял и предавался раздумьям о боге, со вздохом уступил легкому этому нажиму, поставил ногу на круглую ступеньку и, опустившись на край колодца, обнял одной рукой посох, оправил одежду и теперь тоже повернул лицо к луне, которая ярко осветила нежную величавость старческих его черт и зажгла зеркальным блеском его озабоченно-умные каштановые глаза. У ног его сидел Иосиф – согласно картине, которую уже

раньше облюбовал и предложил. И, чувствуя на волосах у себя руку Иакова, непроизвольно, по-видимому, опустившуюся, чтобы погладить их, он продолжал голосом более тихим:

– Вот теперь стало хорошо и приятно, я просидел бы так все три ночные стражи подряд, мне давно этого хотелось. Мой господин глядит вверх, в лицо луны, но и мне нисколько не хуже, потому что я с величайшим удовольствием гляжу в его собственное лицо, которое тоже кажется мне лицом бога и светится отраженным светом. Скажи, разве не показалось тебе ликом луны лицо моего косматого дяди Исава, когда он, по твоим словам, так неожиданно кротко и по-братски встретил тебя у брода? Но и это был только отсвет кротости на косматo-багровом лице, отсвет твоего, дорогой господин мой, лица, которое на вид такое же, как лицо луны и пастуха Авеля, чья жертва была угодна господу, но не Каина и не Исава, чьи лица – как поле, выжженное солнцем, как земля, потрескавшаяся от засухи. Да, ты Авель, ты луна и пастух, и мы, члены твоей семьи, – мы все пастухи-овчары, а не люди возделывающего поля Солнца, как местные землепашцы, что, обливаясь потом, ходят за сохой и за волами сохи и молятся местным баалам. Нет, мы глядим вверх на Владыку Дороги, на странника, который сейчас поднимается, сияя, в белом наряде… Скажи мне, – продолжил он скороговоркой, почти не переводя дыхания, – разве наш отец Авирам не ушел огорченный из Ура Халдейского, разве не покинул он в гневе родную свою лунную твердыню, потому что законодатель мощно вознес главу своему богу Мардуку – палящему Солнцу, и поставил его выше всех богов Синеара к огорчению людей Сина? И скажи мне, разве его люди, что там живут, не называют его также Симом, когда хотят по-настоящему возвысить его, – как звали того сына Ноя, чьи дети черны, но миловидны, как была миловидна Рахиль, и живут в Эламе, Ассуре, Арфаксаде, Луде и Едоме? Погоди-ка, послушай-ка, о чем подумало дитя! Разве не звали Сахарь, что значит «луна», жену Авраама? А теперь, погляди, какой я сделаю расчет. Семь раз по пятидесяти дней и еще четыре дня составляют кругооборот. В каждом, однако, месяце есть три дня, когда люди не видят луны. Осмелюсь попросить моего господина отнять от тех трехсот пятидесяти четырех дней эти трижды двенадцать. Получится триста восемнадцать ночей видимой луны. Но как раз триста восемнадцать рабов, рожденных в доме его, было у Авраама, когда он побил царей Востока и прогнал их за Дамаск, освободив брата своего Лота из плена эламитянина Кудур-Лаомера. Как же любил Авирам, отец наш, луну и как же он был ей предан, если отобрал рабов для сраженья точно по числу дней видимой луны. И предположим, что я послал ей воздушный поцелуй, и даже не один, а целых триста восемнадцать, хотя на самом деле я их вовсе не посылал, – скажи, неужели это была бы такая уж большая беда?

Испытание

– Ты умен, – сказал Иаков, снова и даже еще энергичнее, чем прежде, приведя в движенье лежавшую на голове Иосифа руку, которая во время этих расчетов остановилась, – ты умен, Иашуп, сын мой. Голова твоя внешне красива и прекрасна, как когда-то голова Мами (он употребил ласкательное, вавилонского происхождения имя, которым маленький Иосиф называл мать, фамильярно-обиходное имя Иштар), а внутри полна остроумья и благочестья. Такой же бойкой была и моя голова, когда мне было не больше годов, чем тебе, но сейчас она уже немного устала от историй, не только от новых, но и от старых, которые нам достались и требуют размышленья; устала она и от трудностей, от Авраамова наследства, которое заставляет меня задумываться, ибо понять господа нелегко. Если даже лицо его подобно лицу кротости, то все же оно подобно и палящему солнцу и жаркому пламени; он как-никак сжег Содом, и чтобы очиститься, человек должен пройти через господний огонь. Господь наш – это жадное пламя, что пожирает в праздник равноденствия тук первородных перед шатром, когда наступают сумерки и мы в страхе сидим в шатре и едим ягненка, окрасив его кровью столбы шатра, потому что мимо проходит ангел-губитель…

Он запнулся, и рука его отстранилась от волос Иосифа. Взглянув вверх, тот увидел, что старик закрыл лицо руками и весь дрожит.

– Что с моим господином? – воскликнул он пораженно и, резко повернувшись к старику, взметнул руки к его рукам, но дотронуться до них не осмелился. Ему пришлось после некоторого ожидания повторить свой вопрос. Иаков переменил позу не скоро. Когда он открыл лицо, оно было искажено скорбью, горестный его взгляд, скользя мимо мальчика, уходил в пустоту.

– Я подумал о боге с ужасом, – сказал он так, словно губы его отказывались шевелиться. – Мне почудилось, будто рука моя – это рука Авраама и лежит она на голове Ицхака. И будто доносится до меня голос его и его повеленье…

– Повеленье? – спросил Иосиф, вызывающе и по-птичьи отрывисто мотнув головой…

– Повеленье и указанье, ты это знаешь, ибо ты сведущ в историях, – отвечал срывающимся голосом Иаков, который сидел теперь наклонившись вперед и припав лбом к державшей посох руке. – Я услыхал их, ибо разве Он слабее, чем бык Мелех, царь баалов, которому в беде приносят в жертву первенцев человеческих и отдают младенцев на тайном празднике? И разве не вправе Он требовать от своих почитателей того же, чего требует Мелех от тех, кто верит в него? Вот Он и потребовал этого, и я услыхал голос Его и сказал ему: «Вот я!» И мое сердце остановилось, мое дыхание замерло. И оседлал я осла рано утром и взял тебя с собой. Ибо ты был Исаак, поздний мой первенец, и господь учинил нам смех, когда объявил о тебе, и ты был для меня всем на свете, и все будущее было в тебе! И наколол я дров для всесожжения, и взвалил их на осла, и посадил сверху дитя, и вместе с работниками шел три дня из Беэршивы к Едому и к земле Муцри и к горе этой земли – Хореву. И когда издали увидал я гору господню и вершину горы, я оставил осла с отроками, чтобы они нас ожидали, и возложил на тебя дрова для всесожжения и взял в руки огонь и нож, и дальше мы шли одни. И когда ты заговорил со мной: «Отец мой?» – я не сумел сказать тебе: «Вот я», – потому что горло мое неожиданно застонало. И когда ты сказал своим голосом: «Вот огонь и дрова; где же овца для всесожжения?» – я не сумел ответить тебе, как должен был, что господь усмотрит себе овцу, и мне сделалось так худо и так больно, что со слезами я чуть не изверг из себя душу, и я опять застонал, и тогда ты стал искоса глядеть на меня своими глазами. И когда мы пришли на место, я построил из камней жертвенник и разложил на нем дрова, и связал дитя веревкой и положил его поверх дров. И взял нож и закрыл тебе левой рукою оба глаза. И когда я приставил нож и лезвие ножа к твоему горлу – вот тогда я ослушался господа, и рука моя опустилась, и нож выскользнул, и я пал на лицо свое и грыз зубами землю и траву земли, и колотил их ногами и кулаками, и кричал: «Заколи, заколи его ты, господь и губитель, ибо он для меня все на свете, и я не Авраам, и душа моя отказывается повиноваться тебе!» И когда я кричал и колотил землю, гром прокатился по небу от этого места и укатился вдаль. И был у меня сын, и не было больше господа, ибо я не нашел в себе силы выполнить его волю, да, да, не нашел, – простонал он, качая лбом, по-прежнему прижатым к руке, в которой был посох.

– Неужели в последнее мгновенье, – спросил, поднимая брови, Иосиф, – душа твоя дрогнула? Ведь в следующее мгновенье, – продолжал он, так как старик только молча немного повернул голову, – ведь в ближайшее же мгновенье раздался бы голос и воззвал бы к тебе: «Не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего!», и ты бы увидел овна в чаще.

– Я этого не знал, – ответил старик, – ибо я был как Авраам, и эта история еще не произошла.

– Но разве ты сам не сказал, что воскликнул: «Я не Авраам»? – с улыбкой возразил Иосиф. – А раз ты им не был, значит, ты был Иаковом, моим папочкой, и эта история была стара, и тебе был известен ее исход. Ведь и мальчик же, которого ты связал и хотел заколоть, не был Ицхаком, – прибавил он опять с тем же изящным движением головы. – Таково уж преимущество позднего времени, что мы уже знаем круги, по которым движется мир, знаем

обоснованные отцами истории, в которых он предстает. Ты мог вполне положиться на голос и на овна.

– Речь твоя хитроумна, но неверна, – отвечал старик, забывая за спором свою боль. – Во-первых, если я был Иаковом, а не Авраамом, то не было уверенности, что все пойдет так же, как тогда, и я не знал, не пожелает ли господь довершить то, что он некогда отложил. Во-вторых, посуди, чего стоила бы моя твердость перед господом, если бы источником ее был расчет на ангела и на овна, а не великая покорность, не вера, что бог может провести будущее через огонь целым и невредимым и взломать запоры смерти и что воскресение во власти бога? В-третьих, разве меня испытывал бог? Нет, он испытывал Авраама, и тот выдержал испытание. Меня же Авраамовым испытанием испытывал я сам, и душа моя не выдержала его, ибо любовь моя была сильнее, чем моя вера, и я не нашел в себе силы совершить это, – простонал он снова и снова склонил к посоху лоб; ибо, оправдав свой разум, он снова отдался чувству.

– Конечно, я говорил вздор, – смиренно отвечал Иосиф, – глупостью я, несомненно, превосхожу большинство овец, а уж верблюд, в сравнении с этим бестолковым юнцом – это просто сам Ной премудрый по рассудительности. Ответ мой на твое устыдившее меня замечание будет не умнее, но тупоголовое это дитя думает, что, испытывая себя самого, ты был не Авраамом и не Иаковом, а – страшно сказать – господом, который испытывал Иакова Авраамовым испытанием, и ты обладал мудростью господа и знал, какому испытанию намеревался он подвергнуть Иакова – тому, которое с Авраамом он не намерен был доводить до конца. Ведь он сказал ему: «Я царь баалов, бык Мелех. Принеси мне в жертву своего первенца!» Но когда Авраам приготовился принести его в жертву, господь сказал: «Посмей только! Разве я царь баалов, бык Мелех? Нет, я бог Авраамов, чье лицо не похоже на землю, потрескавшуюся от солнца, а похоже на лик луны, и то, что я приказал, я приказал не затем, чтобы ты это сделал, а затем, чтобы ты узнал, что не должен этого делать, ибо это просто мерзость перед лицом моим, и кстати вот тебе овен». Мой папочка, развлеченья ради, испытывал себя, хватит ли у него сил сделать то, что господь запретил Аврааму, и огорчается, выяснив, что на это у него никогда и ни при каких обстоятельствах сил не хватило бы.

– Как ангел, – сказал Иаков, выпрямляясь и растроганно качая головой. – Как ангел, витающий близ престола, говоришь ты, Иегосиф, божий мой мальчик! Хотел бы я, чтобы тебя послушала Мами: она хлопала бы в ладоши, а глаза ее, твои глаза, сияли бы от смеха. В словах твоих только половина правды, а на другую половину остается в силе то, что сказал я, ибо я оказался слаб в вере. Но свою долю правды ты приправил изяществом и умастил миррой остроумия, ты доставил удовольствие разуму и пролил бальзам на мое сердце. Как только умудряется дитя говорить так хитро, что речь его весело перехлестывает скалу правды и льется в сердце, заставляя его прыгать в груди от радости?

О масле, о вине и о смокве

– Дело тут вот в чем, – отвечал Иосиф. – Остроумие обладает природой гонца на посылках, посредника между солнцем и луной, между властью Шамаша и властью Сина над человеческим телом и духом. Это я узнал от Елиезера, мудрого твоего раба: он открыл мне науку о звездах и об их встречах и об их власти над часом, которая зависит от того, как они друг на друга глядят, и составил гороскоп моего рожденья в Харране, в Месопотамии, в месяце Таммуза в полдень, когда Шамаш стоял в высшей своей точке и в знаке Близнецов, а на востоке всходил знак Девы.

Взглянув вверх, он указал пальцем на эти созвездия, одно из которых склонялось к западу, а другое и сейчас поднималось на востоке, и продолжал:

– Это, да будет известно папочке, знак Набу, знак Тота, писца таблиц, легкого, подвижного бога, который устанавливает мир между вещами и поощряет обмен. И значит, солнце тоже

стояло под знаком Набу, он был владыкой часа и пребывал на свиданье с луной, – благотворном для него, как считают жрецы и гадатели, ибо оно делает его хитрость кроткой, а сердце мягким. Но посреднику Набу противостоял Нергал, злокозненный лукавец, из-за которого владычество Набу принимает жестокий характер, отмеченный печатью на свитке судьбы. Так же обстояло дело и с Иштар, чей удел – мера и привлекательность, любовь и милосердие: в тот час она находилась в высшей своей точке и приветливо переглядывалась с Сином и с Набу. К тому же она пребывала в знаке Тельца, а опыт учит, что это залог спокойного нрава, терпеливой храбрости и занятного ума. Но и с ней, по словам Елиезера, находился в треугольном соотношенье стоявший под Дельфином Нергал, и Елиезер этому порадовался, потому что, по его мнению, сладость ее вследствие этого не приторна, а полна душистой пряности меда. Луна стояла тогда в знаке Рака, ее собственном, а все переводчики – если не в своих собственных, то в дружественных знаках. А сочетание сильной позиции Луны с умником Набу означает, что родившийся далеко пойдет в мире, и если солнце, как и было в тот час, находится в треугольном соотношенье с воителем и ловчим Нинурту, то это предвещает участие в делах земных царств и обладание властью. Так что по правилам гороскоп получается неплохой, если только нелепое это дитя не погубит все своей глупостью.

– Гм, – промычал старик, бережно проводя рукой по волосам Иосифа и глядя в сторону. – Это зависит от господа, – сказал он, – который направляет звезды. Но то, что он сообщает нам через их посредство, не может всякий раз иметь одно и то же значенье. Будь ты сыном человека важного и могучего в мире, тогда, пожалуй, можно было бы прочесть, что тебе суждено участие в делах государственных и правительственных. Но поскольку ты всего лишь пастух и сын пастуха, то разуму ясно, что все это следует толковать иначе, по более мелкому счету. Но почему же ты назвал остроумие гонцом на посылках?

– Сейчас я к этому подойду, – отвечал Иосиф, – и в этом направлении я поведу свою речь. Благословенье отца моего – это было солнце, стоявшее в час рожденья в зените, соотносившееся с Мардуком в знаке Весов и с Нинурту в одиннадцатом знаке, а также взаимоотношение обоих этих отцовских переводчиков, царя и ратника. Это могучее благословение! Но по сильным позициям Сина и Иштар господин мой может судить, сколь могучим было и благословение материнское, благословение Луны! Вот тут-то и создается остроумие, создается, например, соотношеньем, в каком находились Набу и Нергал, могущественный писец и суровое светило снижающегося злодея под знаком Дельфина; а создается оно затем, чтобы посредничать между отцовским и материнским наследием, уравновешивать власть Солнца властью Луны и весело примирять дневное благословение с благословением ночи…

Улыбка, с которой он вдруг умолк, была чуть кривой, но Иаков, сидевший выше и позади Иосифа, этого не увидел. Он сказал сыну:

– Старик Елиезер – человек знающий, он накопил много всяческой мудрости и, так сказать, читал камни, оставшиеся от допотопных времен. Он дал тебе много правдивых и почтенных сведений о началах, о родословьях и о всяких других вещах, а также много полезных знаний, которые могут пригодиться в мире житейском. Но об ином не скажешь с уверенностью, можно ли его причислить к правдивому и полезному, и сердце мое сомневается в том, что он поступил правильно, познакомив тебя с искусствами синеарских звездочетов и колдунов. Я, конечно, считаю голову моего сына достойной всяческих знаний, но я не слыхал, чтобы наши отцы читали по звездам или чтобы бог велел делать это Адаму, а потому не уверен, что это не равнозначно звездослуженью, и боюсь, что это мерзость перед лицом господа и демонически двойственная смесь благочестия с поклонением идолам.

Он озабоченно покачал головой, погрузившись в наиболее свойственное ему состояние – печали о надлежащем и праведном, задумчивой тревоги о непонятности бога.

– Многое на свете сомнительно, – отвечал Иосиф, если то, что он говорил, было ответом. – Например, что за чем скрывается – день за ночью или, наоборот, ночь за днем?

Это было бы важно определить, и я часто размышлял об этом в поле и в хижине, чтобы прийти к какому-то решенью и сделать из него выводы о достоинствах солнечного благословения и благословения лунного, а также о прекрасных особенностях отцовского и материнского наследства. Моя матушка, чьи щеки благоухали, как лепестки роз, сошла вниз, в ночь, когда родила брата, который живет еще в шатрах женщин, и, умирая, она хотела назвать его Бен-Они, так как известно, что в Оне египетском пребывает любимый сын Солнца, Усири, царь преисподней. Ты же назвал младенца Бен-Иамин, чтобы все знали, что он сын праведной и самой любимой, и это тоже прекрасное имя. Однако я не всегда тебя слушаюсь. И иногда называю братца Бенони, и он охотно отзывается на это имя, ибо знает, что, уходя, Мами одно мгновенье хотела назвать его именно так. Она теперь в царстве ночи и шлет нам свою любовь из царства ночи, малышу и мне, и ее благословение – это лунное благословение и благословение бездны. Господин мой, конечно, знает о двух деревьях в саду мира? От одного из них идет масло, которым помазывают царей земли, чтобы они жили. От другого идет смоква, зеленая и розовая, полная сладких гранатовых зерен, и кто вкусит от нее, тот умрет. Из широких его листьев Адам и Гева сделали себе набедренники, чтобы прикрыть свой срам, потому что уделом их стало познание, а оно стало им под полной луной летнего солнцеворота, когда она справляет брачное свое торжество, чтобы потом пойти на убыль и умереть. Масло и вино посвящены Солнцу, и хорошо тому, у кого мирра каплет со лба и чьи глаза светятся хмельным светом от красного вина! Ибо слова его будут умны, они будут смехом и утешеньем народам, и он усмотрит для них овна в чаще, чтобы принести его в жертву господу вместо первенца, и они оправятся от муки и страха. Сладкий же плод смоковницы посвящен луне, и хорошо тому, кого матушка кормит из царства ночи смоковной плотью. Ибо он будет расти словно у родника, и душа его пустит корни, откуда пойдут родники, и слово его будет телесным и веселым, как тело земли, и пребудет с ним дух прорицанья…

Как говорил он? Шепотом. Это было такое же, как прежде, до прихода отца, странное бормотанье, при виде которого становилось не по себе. Он подергивал плечами, руки дрожали у него на коленях, он улыбался, но при этом у него некстати закатывались глаза до белков. Иаков этого не видел, но он слушал. Он наклонился к нему, и руки его висели одна над, а другая рядом с головой мальчика, осторожно, на некотором расстоянии, прикрывая ее. Затем он, однако, опять положил левую на его волосы, что сразу же дало возбужденью Иосифа разрядку, и, пытаясь другой своей рукой найти на коленях сына правую его руку, с настороженной доверительностью сказал:

– Вот что, Иашуп, дитя мое, хочу я спросить у тебя, ибо это вселяет мне в сердце тревогу о скоте и о благополучии стад! Ранние дожди были приятны, и выпали они до наступленья зимы, и тучи не лопались, затопляя поля и только наполняя колодцы кочевников, а все время тихо накрапывало, что всего благодатней для почвы. Но зима была сухая, и море не посылало нам дуновения своей кротости, а налетали ветры из пустыни и степи, и небо было ясно, глаза-то оно радовало, но сердце тревожило. Беда, если и поздних дождей не будет, тогда пропали урожай земледельца и посев хлебопашца, и травы засохнут до срока, и скот не найдет себе корма, и вымя у маток вяло повиснет. Пусть же скажет дитя, что оно думает о ветре, и о погоде, и о видах на погоду, и какого оно мнения о том, успеют ли еще поздние дожди выпасть вовремя?

Он еще ниже склонился над сыном, отвернув при этом лицо и держа ухо над его головой.

– Ты прислушиваешься ко мне, – сказал Иосиф, хотя этого не видел, – а дитя направит слух свой дальше, наружу и внутрь, и передаст твоему слуху нужную весть. Чует ухо мое, как падают капли с ветвей и как журчит по долам вода, хотя луна светит куда как ясно и ветер идет от Гилеада. Сейчас этих звуков нет во времени, но они близки во времени, и я слышу нюхом, и слышу уверенно, что еще до того, как луна ниссана уменьшится на одну четверть, земля понесет от мужского семени неба и взопреет и изойдет, слышится мне, паром от радости,

и луга наполнятся овцами, и заколосятся хлеба на нивах, так что хоть пой и пляши. Я слыхал и усвоил, что сначала землю поил поток Тави, который выходил из Вавилона и орошал ее раз в сорок лет. Но затем господь положил поить ее с неба – по четырем причинам, и одна из них та, чтобы глаза глядели у всех вверх. Вот мы и будем с благодарностью взирать на небо престола, где находятся двигатели погоды и кладовые вихрей и гроз, такие, какими я их увидел во сне, когда задремал вчера под деревом наставленья. Один херуву, он назвал себя Иофиилом, дружелюбно повел меня туда за руку, чтобы я осмотрелся там и кое с чем познакомился. И я видел пещеры, полные пара, с дверями из пламени, и видел, как трудятся там и хлопочут подручные. И я слышал, как они говорили друг другу: отдай приказ о тверди и облачном небе. Засуха одолела запад, великая сушь поразила равнину и пастбища плоскогорья. Надо принять меры, чтобы как можно скорее прошли дожди в земле амореев, аммонитян и фереситян, мидианитов, хевитов и иегвуситов, особенно же в окрестностях места Хеврона на возвышенности водораздела, где пасет бесчисленные свои стада сын мой Иаков, по прозванью Израиль! Это привиделось мне с не допускающей никаких насмешек живостью, и вдобавок под священным деревом, так что господин мой может быть совершенно спокоен насчет орошенья.

– Хвала элохимам, – сказал старик. – Во всяком случае, мы отберем скот для всесожженья и сотворим пред ними трапезу, будем жечь требуху с ладаном и медом, чтобы сбылось то, что ты сказал. А то я боюсь, что горожане и здешние жители все испортят, учинив, плодородия ради, очередное непотребство в честь Баалат, какой-нибудь праздник совокупленья с обычной трескотней кимвалов и громкими криками. Это прекрасно, что мой мальчик благословен сновиденьями; недаром он первенец мой от праведной и самой любимой. Я тоже сподабливался кой-каких откровений, когда был моложе, и то, что я увидел во сне, когда против своей воли уехал из Беэршивы и, не подозревая того, набрел на известное место и на известный подступ, может, пожалуй, потягаться с тем, что показали тебе. Я люблю тебя, потому что ты успокоил меня насчет орошенья, но не говори всем и каждому, что ты видишь сны под священным деревом, не говори этого детям Лии и не рассказывай об этом детям служанок, у них может вызвать раздраженье твой дар!

– Клянусь тебе в этом и кладу руку под твое стегно, – отвечал Иосиф. – Слово твое – печать на моих устах. Я знаю, что я болтун, но когда разум этого требует, я прекрасно владею собой; и владеть собой мне будет тем легче, что мои виденьица и вправду ничтожны по сравнению с тем, что выпало на долю моему господину у места Луза, когда гонцы восходили и нисходили между землею и воротами и когда элохим открылся ему…

Двуголосная песнь

– Ах, папочка, дорогой господин мой! – сказал он, оборачиваясь со счастливой улыбкой и обнимая одной рукой отца, к его восхищенью. – Как чудесно, что бог любит нас и благоволит к нам и что он допускает дым наших жертв до своих ноздрей! И хотя Авель не успел родить детей и был убит в поле Каином из-за их сестры Ноэмы, мы все-таки из колена жителя шатров Авеля и из колена Исаака, последнего, кто был благословен. Вот почему нам даны и разум и сновиденья, и оба эти дара – великая радость. Ибо отрадно обладать мудростью и владеть словом, благодаря чему ты способен говорить и возражать и в состоянье назвать любую вещь. Но столь же отрадно быть глупцом перед господом и, ровно ничего не подозревая, набрести на место, что связует небо и землю, и во сне узнать замыслы совета и уметь толковать видения, если они указывают, что будет делаться из месяца в месяц. Таким был премудрый Ной, которому господь объявил о потопе, чтобы тот спас жизнь. Таким был и Енох, сын Иареда, потому что он жил непорочно и умывался в живой воде. Это был отрок Ханок, а ты знаешь о нем? Я доподлинно знаю все, что с ним было, и знаю, что любовь бога к Авелю и к Ицхаку была слабой по сравнению с его любовью к Ханоку. Ибо Ханок был настолько умен и благо-

честив и начитан в таблицах тайны, что отделился от людей и господь взял его, и больше его не видели. И сделал его ангелом перед лицом своим, и он стал метатроном, великим писцом и князем мира…

Он умолк и побледнел. Под конец он говорил задыхаясь и теперь, оборвав свою речь, спрятал лицо на груди отца. Тот был рад укрыть его там. Бросая над ним слова в серебряную вышину, Иаков сказал:

– Да, я знаю о Ханоке, из первого колена людского, сыне Иареда, а Иаред был сыном Магалалеила, а тот – сыном Каинана, а тот – сыном Еноса, а Енос был сыном Сифа, а тот сыном Адама. Вот родословие Еноха до самого начала. Внуком же его сына был Ной, второй первочеловек, а Ной родил Сима, чьи дети черны, но миловидны, а от Сима в четвертом колене родился Евер, и поэтому Сим – отец всех детей Евера и всех евреев и наш отец…

Это было известно, ничего нового он не сообщил. Каждый в роду и семье с детства знал назубок родословную предков, и старик просто воспользовался случаем развлечься ее повторенье и подтвержденьем. Иосиф понял, что разговор их собьется на «прекраснословие», то есть превратится в такую беседу, которая служит уже не для полезного обмена мнениями о тех или иных практических или религиозных делах, а только для перечисленья известных обоим истин, только для напоминанья, подтвержденья и назиданья, и представляет собой разговорную двуголосицу, подобную той перекличке, какую заводили ночами у полевых костров рабы-пастухи: «Знаешь ли ты об этом?» – «Знаю доподлинно». – И выпрямившись, Иосиф подхватил:

– А от Евера родился Фалек, а тот родил Серуха, а сын Серуха Нахор, отец Фарры, о радость! А Фарра родил Авраама в Уре Халдейском, и вышел оттуда с сыном своим Авраамом и с женой сына своего, которая звалась, как луна, Сахарью и была бесплодна, и с племянником сына своего Лотом. И взял их, и вывел их из Ура, и умер в Харране. И тогда бог повелел Аврааму, чтобы тот, вместе с душами, которых он приобрел господу, шел дальше через равнину и через поток Фрат по дороге, что связывает Синеар с землей Амуррейской.

– Знаю доподлинно, – сказал Иаков и взял опять слово. – То была земля, которую господь пожелал ему указать. Ибо другом бога был Авраам, и открыл он духом своим воистину высочайшего владыку среди богов. И пришел в Дамаск, и родил там со служанкой Елиезера. И пошел дальше по этой земле со своими людьми, что принадлежали богу, и в согласии с духом своим заново освящал святыни людей той земли, и жертвенники, и каменные круги и наставлял народ под деревьями, и учил его, что придет благословенное время, и прибывали к Аврааму окрестные жители, и пришла к нему служанка – египтянка Агарь, мать Измаила. И пришел он в Шекем.

– Я это знаю так же, как ты, – пропел Иосиф, – и двинулся отец наш из долины к горе и пришел в славное место, что нашел Иаков, и поставил между Вефилем и прибежищем Гаем жертвенник Иагу, всевышнему. И пошел оттуда к югу, к земле Негев, а это вот здесь, где горы отлого сбегают к Едому. И сошел совсем вниз и пришел в грязную землю Египетскую и в страну царя Аменемхета и стал там золотым и серебряным, и был очень богат скотом и всяким добром. И поднялся снова к Негеву и там отделился от Лота.

– И знаешь почему? – спросил Иаков для формы. – Потому, что и Лот был очень богат и мелким и крупным скотом, и шатрами, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Но заметь, как кроток был наш отец, когда пошел между их пастухами спор из-за пастбищ, ибо решено было дело не так, как то принято у разбойников-степняков, что приходят и убивают людей, чьим пастбищем и колодцем хотят завладеть, нет, он сказал племяннику своему Лоту: «Пусть не будет раздора между твоими людьми и моими! Земля широка, и лучше нам разделиться, и один пусть пойдет налево, а другой – направо без злобы». И двинулся Лот к востоку и избрал себе всю пойменную окрестность Иорданскую.

– Так оно и было воистину, – снова вступил Иосиф. – И стал Авраам жить у четырехградия Хеврона, и освятил дерево, что доставляет нам тень и сны, и путнику было пристанище, а бездомному – кров. Он давал жаждущим воду, и выводил на дорогу заблудшего, и защищал от разбойников. И не требовал за это ни платы, ни благодарности, а только учил поклоняться своему богу, Эль-эльону, владыке дома, отцу милосердному.

– Ты сказал это верно, – нараспев подтвердил Иаков. – И поставил господь завет с Авраамом, когда тот приносил жертву при захождении солнца. И взял Авраам телицу, козу и овна трехлетних, и горлицу, и молодого голубя. И рассек он всех четвероногих пополам, и положил одну часть против другой, и положил по птице слева и справа, и оставил открытым путь связи между частями и следил за орлами, что налетели на мясо. И тут напал на него сон, не похожий на сон, и охватили его ужас и мрак. И господь говорил с ним во сне и дал ему увидеть дали мирские и царство, что вышло из семени духа его и простерлось из беспокойства и правды его духа, и великие дела, о каких знать не знали князья и цари Вавилона, Ассура, Элама, Хатти и земли Египетской. И прошел в ночи пламенем по пути связи между частями жертвы.

– Ты знаешь это поистине бесподобно, – снова подал голос Иосиф, – но мне известно еще кое-что. И пало на Исаака и на господина моего Иакова наследие Авраама – завет и обетованье. И не было его со всеми детьми Евера, и не досталось оно ни аммонитянам, ни моавитянам, ни едомитянам, а выпало в удел только избранному богом колену, где господь усмотрел себе первородных – не плотью, не милостью материнской утробы, а духом. И были избранники его кротки и мудры.

– Да, да! Ты рассказываешь все, как было, – заговорил Иаков. – И то, что случилось однажды с Авраамом и Лотом, – которые разошлись, случалось и после, и народы расходились в разные стороны. И рожденные от Лота собственной его плотью Моав и Аммон не остались на его пастбищах вдвоем, ибо Аммон привязался к пустыне и к жизни пустыни. А на пастбищах Исаака не остался Исав, он ушел со своими женами, сыновьями, дочерями и домочадцами, и с имуществом своим, и со своим скотом в другую землю и стал Едомом на горе Сеир. А что не стало Едомом, было Израилем, и это – особый народ, не похожий ни на бродяг из земли Синайской, ни на голодранцев-разбойников из страны Аравайя, но не похожий также на людей Ханаана, ни на земледельцев, ни на жителей городов. Нет, это владыки и пастухи и свободные люди, которые пасут свои стада и берегут свои колодцы и помнят о господе.

– А господь помнит о нас и о нашей исключительности, – воскликнул Иосиф, запрокидывая голову и обнимая вытянутыми руками отца. – И поэтому дитя ликует в отцовских объятьях, оно в восторге от этих знакомых истин и упоено этим взаимным поученьем! Знаешь ли ты мой самый сладостный сон, который снился мне тысячи раз? Это сон о преимуществе и о сыновстве. Многое будет даровано божьему сыну, ему будет удача во всем, что он ни начнет, он будет находить благоволение в глазах у всех, и цари будут наперебой хвалить его. Знаешь, мне хочется пропеть хвалебную песнь владыке рати небесной, и чтобы язык мой при этом был так же проворен и ловок, как писчая палочка! Они посылали мне свою ненависть и ставили силки, чтобы меня поймать, они выкопали яму перед моими ногами и бросили жизнь мою в яму, где моей обителью была темнота. Но я выкликнул его имя из мрака ямы, и он исцелил меня и вырвал меня у преисподней. Он сделал меня великим среди чужеземцев, и народ, которого я не знал, служит мне на лбу. Сыны чужеземцев подольщаются ко мне, ибо без меня они бы умерли с голоду…

Грудь его тяжело поднималась и опускалась. Иаков глядел на него широко открытыми глазами.

– Что ты видишь, Иосиф? – спросил он тревожно. – Дитя говорит внушительно, но не сообразно с разумом. Как понимать, что чужбина служит ему на лице своем?

– Это были просто красивые слова, – отвечал Иосиф. – Я хотел попышнее прославить господа. А луна немного морочит мне голову.

– Береги свою душу и будь разумен, – сказал Иаков ласково. – Тогда и получится так, как ты говоришь: ты найдешь благоволение в глазах у всех. А я собираюсь подарить тебе одну вещь, которой порадуется твое сердце и которая оденет тебя. Господь пролил на уста твои сладость, и я молюсь, чтобы он освятил тебя навеки, мой агнец!

Сверкая чистым светом, преображавшим ее материальность, луна продолжала высокий свой путь во время их разговора, а звезды, повинуясь закону своего часа, тихо переместились. Ночь дышала миром, тайной и будущим. Старик еще немного посидел у колодца с сыном Рахили. Он назвал его «даму», ребенком, и «думузи», истинным сыном, как жители Синеара называли Таммуза. Еще он назвал его лестным именем «незер», что на языке Ханаана значит «росток» и «цветущий побег». Когда они вернулись к шатрам, он настоятельно посоветовал ему не хвастаться перед братьями и не говорить ни сыновьям Лии, ни сыновьям служанок, что отец так долго сидел с ним и так задушевно беседовал; и тот обещал молчать. Однако на следующий же день он не только рассказал им об этом, но и опрометчиво выболтал сон о погоде, что очень их разозлило, тем более что сон этот сбылся: поздние дожди были обильны и благодатны.

Раздел второй
Иаков и Исав

Лунная грамматика

В «прекраснословной» беседе, нами подслушанной, в этой вечерней антифонной песни, спетой у колодца Иаковом и его небезгрешным любимцем, старик между прочим упомянул о Елиезере, рожденном какой-то рабыней праотцу, когда тот со своими людьми находился в Дамашки. Яснее ясного, что, говоря об этом Елиезере, Иаков не мог иметь в виду того ученого старика, тоже, правда, вольноотпущенного сына рабыни, вероятно даже Иаковлева сводного брата, что жил в собственном его доме, был тоже отцом двух сыновей – Дамасека и Элиноса, и под деревом наставленья совершенствовал мальчика Иосифа во многих полезных и сверхполезных науках. Ясно как день, что Иаков имел в виду того Елиезера, чьего первенца Авраам, этот странник из Ура или Харрана, до поры до времени вынужден был считать своим наследником – точнее сказать, до того времени, пока не появились на свет сначала Измаил, а потом, самым смешным образом, ибо обыкновенное женское у Сарры уже прекратилось, да и сам Авраам был так стар, что его можно было назвать столетним, – а потом, самым смешным образом, истинный сын, Ицхак или Исаак. Однако ясность дня, солнечная, так сказать, ясность – это совсем не то, что ясность лунная, а она-то и царила на диво во время этого сверхполезного разговора. При ясности лунной вещи кажутся иными, чем при ясности солнечной, а там и тогда первая могла представляться ясностью истинной. Поэтому, признаемся по секрету, что, сказав: «Елиезер», Иаков все-таки имел в виду собственного своего домоправителя и первого раба – вернее сказать, и его тоже, обоих, стало быть, сразу, и не только обоих, но Елиезера вообще, со времен старейшего Елиезера в домах глав рода довольно часто имелся вольноотпущенник Елиезер, и у него часто были сыновья, которых звали Дамасек и Елинос.

Такой взгляд Иакова – в этом старик мог быть уверен – вполне разделял Иосиф, который был очень далек от того, чтобы четко, с солнечной ясностью, отличать от прауправляющего Елиезера старого своего учителя, тем более что учитель и сам был от этого очень далек и, говоря о «себе», в большой мере имел в виду Авраамова домочадца. Так, например, он не раз рассказывал Иосифу историю о том, как он, Елиезер, сватал Ицхаку в Месопотамии у родственников Авраама Ревекку, дочь Вафуила и сестру Лавана, причем рассказывал с мельчайшими подробностями, такими, как бубенцы в виде маленьких лун и полумесяцев на шеях его десяти дромадеров или точная цена в шекелях всех носовых серег, запястий, нарядов и пряностей, отданных в выкуп за деву Ревекку и в приданое ей, рассказывал как случай из своей жизни, как собственную историю, не уставая расписывать ту очаровательную кротость Ревекки, с какой она у колодца перед Нахоровым городом опустила в тот вечер кувшин свой с головы на руку и напоила его, жаждущего раба, назвав его – и это он особенно ставил в заслугу ей – «господин мой»; ту стыдливую скромность, с какой она при виде Исаака, который вышел в поле поплакать о своей недавно умершей матери, спрыгнула с верблюда и закуталась покрывалом. Иосиф слушал это с удовольствием, не ослаблявшимся никакими недоумениями по поводу грамматической формы рассказа Елиезера, ничуть не смущаясь тем, что «я» старика не имело достаточно четких границ, а было как бы открыто сзади, сливалось с прошлым, лежавшим за пределами его индивидуальности, и вбирало в себя переживания, вспоминать и воссоздавать которые следовало бы, собственно, если смотреть на вещи при солнечном свете, в форме третьего лица, а не первого. Но что значит «собственно»? Разве человеческое «я» – это вообще нечто замкнутое, строго очерченное, не выходящее из четких границ плоти и времени? Разве многие элементы этого «я» не принадлежат миру, который ему предшествовал

и находится вне его, разве констатация, что тот-то и тот-то есть он самый и больше никто, не представляет собой допущенья, сделанного лишь для удобства и для порядка и умышленно пренебрегающего всеми переходами, которые связывают индивидуальное сознание с всеобщим? В конце концов идея индивидуальности находится в том же ряду понятий, что идея единства, целостности, совокупности, общности, и различие между сознаньем вообще и индивидуальным сознаньем далеко не всегда занимало умы в такой большой мере, как в том «сегодня», которое мы покинули, чтобы повести рассказ о другом «сегодня», чья манера выражаться давала верную картину его представлений, если понятия «личность» и «индивидуальность» оно обозначало лишь такими точными словами, как «религия» и «верование».

Кто был Иаков

Именно в этой связи мы и заводим речь об обогащении Авраама. По прибытии в Нижний Египет (это случилось, по-видимому, во времена двенадцатой династии) он еще отнюдь не был так богат, как в ту пору, когда отделился от Лота. С необычайным его обогащеньем дело обстояло вот как. С самого начала Авраам испытывал величайшее недоверие к нравственности египтян, которая, справедливо или нет, представлялась ему поросшей камышом топью, – вроде рукавов нильского устья. Он боялся египтян, боялся из-за своей жены Сары, которая сопровождала его и была очень красива. Его пугала разнузданная похотливость тамошних жителей, он опасался, что при виде Сары они сразу воспылают желаньем и убьют его, чтобы завладеть ею; в преданье запечатлено, что об этом, то есть о своих опасеньях насчет собственного благополучия, он говорил с ней, как только вступил в Египет, где и велел ей назваться не его женой, а его сестрой, чтобы отвести от него зависть бесстыжего населенья, – что она могла сделать, даже не солгав, ибо, во-первых, возлюбленную часто, особенно в Египте, называли сестрой, а во-вторых, Сара была сестрой Лота, которого Авраам считал своим племянником и называл братом. Поэтому он-то, во всяком случае, мог смотреть на Сару как на свою племянницу и называть ее в общепринятом широком смысле слова сестрой, чем он и воспользовался для обмана и самозащиты. Действительность не только подтвердила, но и превзошла его ожиданья. Сумрачная красота Сары привлекает к себе в этой стране вниманье знатных и незнатных, весть о ней доходит до престола властителя, и знойноокую азиатку забирают у ее «брата» – не силой, не по-разбойничьи, а за хорошую плату, то есть покупают, признав, что она достойна обогатить отборный запас фараоновых жен. Туда ее и доставляют, а ее «брату», который, по общему мнению, не то что не обижен, а просто осчастливлен таким ходом событий, разрешают находиться вблизи нее; мало того, двор непрестанно осыпает его благодеяньями, подарками и наградами, и тот, невозмутимо их принимая, вскоре становится богат и мелким и крупным скотом, и ослами и рабами, и рабынями, и ослицами, и верблюдами. А тем временем при дворе фараона – и это старательно скрывают от народа – разыгрывается беспримерный скандал. Аменемхета (или Сенусерта; нельзя с полной определенностью сказать, какой победитель Нубии одарял тогда благодатью своего господства обе страны) – одним словом, бога во цвете лет, Его Величество, и как раз тогда, когда он собирается отведать новинку, поражает бессилие – причем не один раз, а снова и снова, и одновременно, как мало-помалу выясняется, все его окруженье, всех высших сановников и вельмож царства постигает эта же позорная и – учитывая высшее космическое значение детородной силы – ужасающая беда. Совершенно ясно, что тут что-то неладно, что допущен какой-то промах, что это дают себя знать какие-то чары, какое-то высшее противодействие. Брата еврейки призывают к престолу, его допрашивают, и допрашивают настойчиво, и он наконец открывает правду. Поведение его святейшества выше всяких похвал, это – само благоразумие, само достоинство. «Почему, – спрашивает он, – сделал ты это со мной? Почему уготовил ты мне такую неприятность двусмысленной речью?» И, даже не подумав лишить Авраама даров, столь щедро ему пожалованных, фараон возвра-

щает пришельцу его жену и заклинает их богами идти своей дорогой, причем дает им еще надежную охрану, чтобы та сопровождала людей Авраама до границ Египта. Праотцу же, который не только вернул себе Сару нетронутой, но и стал куда богаче, чем прежде, остается только радоваться удавшейся пастушеской плутне. А ведь допустить, что он с самого начала рассчитывал на то, что бог так или иначе убережет Сару от осквернения, допустить, что подарки он принимал только на этом наперед известном условии, будучи уверен, что такой его образ действий посрамит египетскую блудливость лучше всего, – допустить это тем соблазнительнее, что только при такой точке зрения все его действия: отрицание своего супружества, пожертвование Сары ради собственного благополучия – предстают в правильном свете – весьма остроумными.

Такова эта история, правдивость которой предание особо еще подчеркивает и подтверждает тем, что приводит ее вторично, с той лишь разницей, что на сей раз она разыгрывается уже не в Египте, а в земле филистимлян и в ее столице Гераре, при дворе царя Авимелеха, куда халдеянин с Сарой пришел из Хеврона и где все, начиная от просьбы Авраама к жене и кончая счастливой развязкой, протекает в точности так же, как изложено выше. Повторение рассказа, как средство подчеркнуть правдивость его – прием необычный, но он не очень бросается в глаза. Гораздо примечательней то, что предание, которое письменно было закреплено, правда, в более позднюю пору, но как предание существовало, конечно, всегда, восходя к рассказам и сообщениям самих патриархов, – что, излагая это же приключенье в третий раз, предание приписывает его Исааку и что, следовательно, Иссак оставил память об этом приключенье, как о своем собственном, случившемся с ним – или и с ним тоже. Ибо, спасаясь от голода, Исаак тоже (это было вскоре после рожденья его близнецов) пришел со своей красивой и умной женой в страну филистимлян, к герарскому дворцу; там он тоже по тем же причинам, что Авраам Сару, выдал Ревекку за свою «сестру» – не совсем не по праву, поскольку она была дочерью его двоюродного брата Вафуила – а дальше в его случае история пошла вот как: «через окно», то есть как тайный лазутчик и соглядатай, царь Авимелех увидел, как Исаак «шутит» с Ревеккой, и был этим так испуган и разочарован, как только может быть испуган и разочарован влюбленный, узнав, что предмет его желаний, который он считал свободным, на самом деле находится в крепких руках. Слова Авимелеха выдают его с головой. Когда призванный к ответу Исаак открыл ему правду, филистимлянин с упреком воскликнул: «Какую опасность навлек ты на нас, чужеземец! Один из народа моего чуть не совокупился с твоей женой, и какая бы тогда пала на нас вина!» Выражение «один из народа» не допускает никаких кривотолков. Кончилось дело, однако, тем, что супруги оказались под особым и личным покровительством этого благочестивого, хотя и сластолюбивого царя, и что благодаря его покровительству Исаак разбогател в земле филистимской так же, как некогда там или в Египте разбогател Авраам, и нажил столько скота и рабов, что филистимлянам стало уже невмоготу видеть это, и они осторожно выпроводили его из своей страны.

Если предполагать, что Авраамово приключенье случилось в Гераре, то невероятно, чтобы Авимелех, с которым имел дело Ицхак, был все тем же Авимелехом, который оказался не в состоянии лишить Сару супружеской чистоты. Тут два разных характера: если державный поклонник Сары направил ее прямиком в свой гарем, то Исааков Авимелех вел себя гораздо более робко и застенчиво, и полагать, что это было одно и то же лицо, может разве лишь тот, кто объясняет осторожное поведение царя в случае с Ревеккой тем, что, во-первых, со времен Сары он сильно постарел, а во-вторых, история с Сарой послужила ему уроком. Но интересует нас не личность Авимелеха, а личность Исаака, вопрос о его, Исаака, отношении к изложенной истории, да и этот вопрос беспокоит нас, строго говоря, лишь косвенно, лишь ради следующего вопроса – кто был Иаков, тот Иаков, что беседовал при нас со своим сынком Иосифом, Иашупом или Иегосифом лунной ночью.

Взвесим имеющиеся возможности. Допустим, что в Гераре Ицхак пережил примерно то же, что пережил там или в Египте его отец. В этом случае налицо явление, которое можно назвать подражанием или преемственностью, налицо мировосприятие, видящее задачу индивидуума в том, чтобы наполнять современностью, заново претворять в плоть готовые формы, мифическую схему, созданную отцами. Возможно, однако, что муж Ревекки пережил эту историю не «сам», не в узких физических рамках своего «я», но тем не менее считал ее частью своей жизни и как таковую передал ее потомкам, потому что отличал «я» от «не-я» менее четко, чем это (со сколь сомнительным правом, было уже намеком замечено) делаем мы – или делали до того, как вступили в это повествование; потому что для него жизнь отдельного существа отграничивалась от жизни рода поверхностнее, рожденье и смерть не были для него такими глубокими сдвигами бытия – вспомним позднего Елиезера, рассказывавшего Иосифу приключения пра-Елиезера в первом лице; это было явление откровенной идентификации, которое сопутствует явлению подражания или преемственности и, слившись с ним, определяет чувство собственного достоинства.

Нисколько не заблуждаясь относительно того, как трудно повествовать о людях, не знающих толком, кто они такие, мы не сомневаемся в необходимости учитывать такую зыбкость сознанья, и если Исаак, заново переживший египетское приключенье Авраама, считал себя тем Исааком, которого хотел принести в жертву странник из Ура, то для нас это еще не есть убедительное доказательство, что он им и был, – разве только попытка жертвоприношения входила в схему и повторно предпринималась. Пришелец из Халдеи был отцом Исаака, которого он хотел заколоть, но насколько невероятно, чтобы этот Исаак был отцом Иосифова отца, сидевшего на наших глазах у колодца, настолько вероятно, что Исаак, подражательно повторивший или вобравший в личное свое бытие Авраамову плутню, пусть отчасти, а все же путал себя с Исааком, чуть не погибшим на жертвеннике, хотя в действительности был куда более поздним Исааком и его отделяло от урского Авирама не одно поколенье. Не нужно доказывать, – это и так сразу видно, – нужно только ясно сказать, что история предков Иосифа в том виде, как ее излагает предание, есть благочестивое сокращение действительных обстоятельств дела, то есть той череды поколений, что должна была заполнить века, отделявшие Иакова, которого мы видели, от урского Авраама; и подобно тому как Елиезер, внебрачный сын и домоправитель урского Авраама, сватавший Ревекку молодому своему господину, после того сватовства часто существовал во плоти, часто высватывал за Евфратом какую-нибудь Ревекку и как раз теперь снова здравствовал в качестве учителя Иосифа – много Авраамов, Исааков и Иаковов ходило с тех пор под солнцем, не проявляя в одиночку склонности к педантической точности в определенье границ плоти и времени, не отличая свою действительность от прежней с солнечной ясностью и не проводя такой уж четкой грани между своей «индивидуальностью» и индивидуальностью более ранних Авраамов, Исааков и Иаковов.

Имена эти были наследственными – если это слово уместно и достаточно точно, когда речь идет о сообществе, в котором они повторялись. Ведь сообщество это росло не как семья, а как группа семей, а кроме того, рост его издавна и в значительной мере основывался на присоединении новообращенных, на пропаганде веры. В пришельце из Ура, Аврааме, нужно видеть главным образом родоначальника духовного, и чтобы Иосиф, чтобы отец Иосифа на самом деле состояли с ним в физическом родстве – а тем более таком прямом, как они полагали, это очень и очень сомнительно. Сомнительно, впрочем, было это и для них самих; только сумеречность их собственного и всеобщего сознания позволяла им сомневаться в этом мечтательно-сонно, благочестиво-оцепенело, принимая слова за действительность, а действительность наполовину только за слово, и называть халдеянина Авраама своим дедом или прадедом примерно в таком же смысле, в каком тот сам называл Лота из Харрана своим «братом», а Сару своей «сестрой», что тоже было одновременно правдой и неправдой. Но даже и во сне люди Эль-эльона не могли приписать своему сообществу цельность и чистоту крови. Вави-

лонско-шумерская, а значит, не совсем семитская порода прошла тут через быт Аравийской пустыни, еще сюда прибавились элементы из Герара, из земли Муцри, даже из Египта – в лице, например, рабыни Агари, которую удостоил своего ложа сам великий родоначальник и сын которой женился опять же на египтянке; а сколько горя принесли Ревекке хеттейские жены ее Исава, дочери племени, тоже не считавшего своим прародителем Сима, а вторгшегося когда-то в Сирию из Малой Азии, из урало-алтайской сферы, – это всегда было слишком хорошо известно, чтобы распространяться сейчас и на этот счет. Некоторые колена рано отпали. Известно, что и после смерти Сары урский Авраам производил на свет детей, неразборчиво вступив в связь с ханаанеянкой Хеттурой, хотя сам же не хотел, чтобы его Ицхак женился на ханаанеянке. Одним из сыновей Хеттуры был Мидиан, чьи потомки жили южнее округи Исава, Едома-Сеира, на краю Аравийской пустыни, подобно тому, как дети Измаила жили перед Египтом; ибо Ицхак, истинный сын, был единственным наследником, а от детей побочных отделывались подарками и сплавляли их куда-нибудь на восток, где они теряли всякие связи с Эль-эльоном, если вообще когда-либо признавали его, и служили собственным своим богам. Божественное же, то есть наследственная работа над идеей бога, было связующим обручем, скреплявшим при всей ее генеалогической пестроте ту духовную семью, что, в отличие от других евреев, сыновей Моава, Аммона и Едома, называла себя этим племенным именем в особом и узком смысле, тем более что как раз теперь, как раз в то время, в которое мы вступили, она стала связывать это имя с другим – Израиль – и им обусловливать первое.

Имя и звание, добытое некогда Иаковом, не было изобретением странного его противника. Богоборцами всегда называло себя одно разбойничье-воинственное и отличавшееся весьма первобытными нравами племя пустыни, отдельные части которого, меняя степные пастбища, пригнали свой мелкий скот к селеньям плодородных земель, перешли от чисто кочевой жизни к полуоседлому быту и после вероучительной вербовки вошли в семью Авраамовых единомышленников. Их богом в родной пустыне был злобный воитель и громовержец по имени Иагу, крайне несговорчивый дух, с чертами скорее демоническими, чем божественными, хитрый, деспотичный, лукавый, перед которым смуглый его народ, кстати сказать, гордившийся им, трепетал, хотя и пытался колдовством и кровавыми обрядами как-то обуздать и обратить на пользу себе бешеный нрав этого демона. Иагу мог без какого-либо видимого повода напасть среди ночи на человека, к которому у него были все основания относиться доброжелательно, – чтобы его удушить; существовал, однако, способ заставить Иагу отказаться от его страшного намерения: жена того, на кого он напал, должна была, не мешкая, обрезать своего сына каменным ножом и, прикоснувшись крайней плотью к срамным частям демона, прошептать ему некую мистическую формулу, более или менее вразумительный перевод которой на наш язык сопряжен с не преодоленными до сих пор трудностями, но которая смягчала и прогоняла убийцу. Вот каков был Иагу. И все же этому темному, в образованном мире совершенно неизвестному божеству суждено было большое теологическое поприще как раз благодаря тому, что часть его паствы оказалась в сфере Авраамова богомыслия. Если, приобщившись к идеям, пущенным в ход урским странником, пастушеские эти семьи усилили своей плотью и кровью человеческую базу богословских традиций халдеянина, то, с другой стороны, какая-то доля неистовства их бога проникла в то божество, что стремилось обрести действительность в человеческом духе, божество, в формировании которого участвовали своими красками и духовным своим материалом также ведь и Усири Востока, Таммуз, и Адонаи, растерзанный сын и овчар Мелхиседека и его сихемитов. Разве мы не слышали, как его, Иагу, имя, бывшее некогда боевым кличем, слетало лирическим лепетом с красивых и прекрасных губ? И в той форме, в какой принесли его из пустыни смуглые ее сыновья, и в своих сокращенных и производных формах, связывавших его с местными, ханаанскими условиями, имя это принадлежало к звукам, которыми примеривались к невыразимому. Так, например, одна здешняя местность издавна называлась «Бе-ти-йа», «дом Иа», то есть точно так же, как «Бетель»

или «Вефиль», «дом бога», и достоверно известно, что переселявшиеся в Синеар амурреи еще до эпохи законодателя носили имена, включавшие в себя обозначение бога «Иа'ве», – мало того, еще урский Авраам назвал дерево у святилища Семь Колодцев «Иагве эль олам», «Иагве бог всех времен». Имени же, которым называли себя бедуины-воины Иагу, суждено было стать отличительным признаком наиболее чистого и наиболее высокого еврейства, приметой духовного потомства Авраама, как раз благодаря тому, что Иаков добыл его в трудную ночь над Иавоком…

Елифаз

Такие люди, как Симеон и Левий, сильные сыновья Лии, могли, пожалуй, втайне посмеиваться над тем, что отец завоевал себе, как бы отторгнув его у неба, именно это разбойничье-дерзкое имя. Ибо Иаков не был воинствен. Никогда бы он не сделал того, что сделал урский Аврам, который, когда наемники Востока, войска Элама, Синеара, Ларсы и левобережья Тигра, вторглись из-за не выплаченной вовремя дани в долину Иордана, разграбили ее города и увели в плен Лота Содомского, смело и решительно вооружил несколько сот рожденных в доме рабов и окрестных единоверцев, людей Эль-берита, всевышнего, двинулся с ними большими переходами из Хеврона, догнал уходивших эламитов и гоев и, приведя в смятенье их арьергард, освободил множество пленников, а Лота и похищенное его имущество с триумфом доставил домой. Нет, на такие дела Иаков не был способен, тут он спасовал бы, в чем мысленно и признался себе, когда Иосиф завел речь об этой старой, часто упоминавшейся истории. Он «не нашел бы в себе силы на это», как не нашел бы в себе, по собственному его признанию, силы сделать со своим сыном то, чего потребовал господь. Освобождать Лота он предоставил бы Симеону и Левию; но если бы те, со своим обычным в таких случаях ужасным криком, устроили бы лунопоклонникам кровавую баню, он закутал бы свое лицо покрывалом и сказал: «Душа моя не с ними!» Ибо душа эта была пугливой и кроткой; она гнушалась насилия и страшилась претерпеть насилие и была полна воспоминаний о посрамленьях своего мужества, но воспоминания эти не шли в ущерб ее достоинству и ее торжественности, потому что именно в такие часы физического униженья ее каждый раз озарял луч духа, она сподоблялась нового, утешительнейшего подтверждения милости, которая давала ей полное право вознести голову, потому что она, душа, сама же рождала и завоевывала эту мысль в неуниженной своей глубине.

Как было дело с Елифазом, великолепным сыном Исава? Елифаза родила Исаву одна из тех его хеттейско-ханаанских жен, баалопоклонниц, которых он рано ввел в дом в Беэршиве и о которых Ревекка, дочь Вафуила, говаривала: «Я жизни не рада от дочерей хеттейских». Иаков уже не помнил, кого из этих хеттеянок Елифаз называл своей матерью; кажется, это была Ада, дочь Елона. Во всяком случае, тринадцатилетний, рано возмужавший внук Ицхака был молодой человек необыкновенно приятный: простодушный, но храбрый, чистосердечный, благородных мыслей, здоровый душой и телом, полный гордой любви к обиженному своему отцу. Жилось Елифазу трудно – причем не только из-за сложных семейных отношений, но также из-за религиозных разногласий. Ибо не меньше чем три вероисповедания оспаривали друг у друга его душу: дедовский Эль-эльон, баалы материнской родни и мечущее громы и стрелы божество по имени Куцах, почитавшееся горцами юга, сеирцами или людьми Едома, к которым Исав издавна тяготел, а позднее и окончательно перешел. Огромная скорбь и бессильная ярость этого космача по поводу разительных событий, разыгравшихся по воле Ревекки в темном шатре подслеповатого деда и погнавших затем Иакова от родного очага на чужбину, потрясли мальчика Елифаза до глубины души, в его ненависти к своему ложно благословенному дяде было что-то иссушающее, что-то прямо-таки опасное для его собственной жизни: казалось, что такая ненависть превосходила силы нежного его возраста. Дома, под бдительным оком Ревекки, против похитителя благословения нельзя было предпринять вообще ничего.

Но когда выяснилось, что Иаков бежал, Елифаз бросился к Исаву и рьяно стал призывать его догнать и убить изменника.

Но обреченный пустыне Исав был слишком подавлен, он слишком ослаб от горького плача о своей преисподней судьбе, чтобы пойти на такое дело. Он плакал, потому что ему полагалось плакать, потому что это соответствовало его роли. Его манера смотреть на вещи и на себя самого обуславливалась и определялась врожденными канонами мышленья, которые связывали его, как всех на свете, и отражали круговращенье космоса. Благодаря отцовскому благословению Иаков стал окончательно человеком полной и «прекрасной» луны, а Исав – темной луной, а значит – человеком солнца, а значит – жителем преисподней, а в преисподней полагалось плакать, хотя бы ты там и разбогател. Если потом он совсем переметнулся к горцам юга и к их богу, то сделал он это потому, что так ему подобало поступить, ибо юг ассоциировался с преисподней, как, кстати сказать, и пустыня, куда пришлось удалиться соответствующему брату Исаака Измаилу. Отношения же с людьми Сеира Исав завязал давно, задолго до того, как на него пало беэршивское проклятье, а это доказывает, что благословение и проклятье были всего только неким подтверждением, что его характер, то есть его роль на земле была определена издавна и что он всегда прекрасно сознавал эту свою роль. В отличие от Иакова, который жил в шатрах и был пастухом луны, он стал охотником, бродячим гостем чистого поля, и стал им, спору нет, в силу своей природы, на основании своей ярко выраженной мужественности. Но мы ошиблись бы и не отдали должного мифически-схематическому складу его ума, полагая, будто его самоощущение, его сознание своей роли опаленного солнцем сына преисподней было лишь следствием его охотничьего призванья. Наоборот, как раз наоборот, он избрал это занятие потому, что так ему и подобало поступить, то есть из-за своей мифической просвещенности, из покорности схеме. На просвещенный взгляд – а у Исава, при всей его грубости, такой взгляд на вещи всегда был – его отношение к Иакову повторяло и переносило в настоящее время – во вневременную действительность – отношение Каина к Авелю; а уж тут Исаву доставалась роль Каина, она доставалась ему как старшему брату, который, хотя новый закон мира и на его стороне, прекрасно чувствует, что со времен седой материнской древности глубокой симпатией человечества пользуется младший и самый младший. Да, если известная история о чечевичной похлебке соответствует действительности, а не была присочинена задним числом для оправдания обмана с благословением (почему Иаков все равно вполне мог верить в ее правдивость), то кажущееся легкомыслие Исава объясняется несомненно таким чувством. Уступая так дешево первородство Иакову, он надеялся завоевать хотя бы симпатию, которая по традиции принадлежит младшему.

Словом, красный, волосатый Исав плакал и выказал полное нежелание мстить и преследовать. Он совсем не хотел еще и убить авелевского своего брата, что только довело бы до предела то сходство, к которому с самого начала клонили дело родители. Но когда Елифаз вызвался или, вернее, решительно пожелал догнать в таком случае и убить благословенного на собственный страх и риск, у Исава не нашлось против этого никаких доводов, и он сквозь слезы кивнул сыну головой в знак согласия. Ибо убей племянник дядю, это было бы приятным для него, Исава, нарушеньем досадной схемы, историческим новшеством, которое могло бы стать эталоном для позднейших мальчиков Елифазов, а его, Исава, избавило бы от роли Каина хотя бы в последней ее части.

Итак, Елифаз собрал пять или шесть человек, державших сторону его отца и обычно сопровождавших его при отлучках в Едом, вооружил их имевшимися в доме длинными камышовыми копьями с очень опять-таки длинными и опасными остриями над пестрыми пучками волос, затемно вывел из стойл Ицхака верблюдов, и прежде чем наступил полдень, Иакова, ехавшего, благодаря заботам Ревекки, тоже на верблюде, и притом в сопровождении двух рабов, с большим количеством съестных припасов и меновых ценностей, – Иакова преследовал по пятам отряд мстителей.

Всю свою жизнь Иаков не забывал ужаса, который охватил его, едва до него дошел смысл этой погони. Поначалу, когда показались всадники, он польстил себя надеждой, что Ицхак слишком рано заметил его исчезновение и хочет его вернуть. Но, узнав сына Исава, он понял всю серьезность положенья и пришел в отчаяние. Начались гонки не на жизнь, а на смерть – лежевесно были вытянуты шеи быстро бежавших, храпевших от усердья, увешанных кистями и лунами дромадеров. Но Елифаз и его люди ехали с меньшей поклажей, чем Иаков; он видел, как с каждым мгновеньем сокращалось расстоянье, от которого зависела его жизнь, и когда его перегнали первые копья, он сделал знак, что сдается, спешился со своими людьми, и, пав лицом на землю, с поднятыми пустыми руками, застыл в ожидании своего преследователя.

То, что произошло затем, было самым плачевным и оскорбительным из всего, что вообще случалось в жизни Иакова, и могло бы, наверно, у кого-нибудь другого навсегда подорвать чувство собственного достоинства. Он должен был, если хотел остаться в живых, – а остаться в живых он хотел любой ценой, не просто из трусости, что нужно настоятельно напомнить, а потому, что был посвящен, потому что на нем лежал завещанный Авраамом обет, – он должен был этого разъяренного мальчика, собственного племянника, такого по сравнению с ним молодого, такого третьестепенного члена семьи, который уже – и не один раз – заносил над ним меч, – он должен был постараться смягчить его мольбами, самоуниженьем, слезами, лестью, жалобными призывами к его великодушию, тысячами извинений, – одним словом, убедительным доказательством того, что не стоит труда пронзать мечом такое ничтожество. Он это и делал. Он, как безумец, целовал ноги мальчика, он осыпал свою голову целыми пригоршнями пыли, и его подгоняемый страхом язык, не перестававший уговаривать и заклинать, двигался с величайшим проворством, которое должно было удержать и действительно удержало озадаченный, поневоле ошеломленный таким словоизверженьем рассудок мальчика от поспешных действий.

Разве он желал этого обмана? Разве это был его замысел, его изобретенье? Пусть из него выпустят потроха, если он хоть в чем-нибудь виноват! Только мать, только бабушка все это придумала и подстроила – из чрезмерной любви, из незаслуженного пристрастия к нему, Иакову, а он всячески противился ее затее, пугая ее тем, что Исаак откроет правду и проклянет не только его, но и ее, не в меру находчивую Ревекку. С проникновенностью отчаянья вопрошал он ее, каково ему будет стоять перед величавым лицом своего первородного брата, если даже хитрость удастся! Не радостно, не весело и не дерзко, о нет, а дрожа и робея вошел он в шатер отца, в шатер любимого деда с кушаньем из козленка и вином, одетый в праздничное платье Исава, со шкурами на запястьях и на шее. Пот так и побежал у него по бедрам от смущенья и страха, голос так и замер у него в горле, когда Исаак спросил его, кто он, когда тот ощупал и обнюхал его – но даже умастить его благовонным, пахнущим полевыми цветами маслом Исава не забыла Ревекка! Это он-то обманщик? Ах, скорее он жертва женской хитрости, Адам, совращенный Евой, подругой змея! И пусть мальчик Елифаз всю свою жизнь – да продлится она много сот лет и долее – остерегается советов женщины и мудро обходит ловушки ее лукавства! Он, Иаков, попался, ему теперь конец. Это он-то благословен? Во-первых, какое же это отцовское благословение, если оно дано по ошибке, если сын выкрал его против собственной воли? Разве оно имеет какую-то ценность, какой-то вес? Разве оно обладает какой-либо силой? (Он прекрасно знал, что благословение – это благословение и что оно обладает полным весом и полной силой, но он спрашивал так, чтобы сбить Елифаза с толку.) А во-вторых, разве он, Иаков, проявил хоть малейшую готовность воспользоваться ошибкой, завладеть домом по праву благословенного и вытеснить Исава, своего господина? О нет, как раз наоборот! Он добровольно ретируется, Ревекка, раскаявшись, прогнала его сама, он навсегда удаляется в чужие, неведомые края, уходит в изгнание, прямехонько в преисподнюю, и доля его – вечные слезы! И его-то хотел поразить острым своим мечом Елифаз – голубь светлокрылый, молодой тур во цвете своей красоты, прекрасный олень? Но разве господь не обещал Ною

взыскивать пролитую человеческую кровь, и разве не прошли времена Каина и Авеля, разве не правят ныне в стране законы, нарушив которые благородный и юный Елифаз может оказаться в величайшей опасности? О нем и печется его достаточно уже наказанный дядя, и если он, Иаков, уничиженный и обедневший, идет теперь на чужбину, где станет рабом, то пусть зато Елифаз будет богат и счастлив, а его мать благословенна среди детей Хета, потому что рука его не пролила крови, а душа отвернулась от злодеянья…

Вот каким потоком хлынули многословные от страха мольбы Иакова, и Елифаз только диву давался, у него голова шла кругом от этого разлива речей. Он готовился встретить смеющегося разбойника, а увидел несчастного человека, чье унижение, казалось, целиком восстанавливало честь Исава. Мальчик Елифаз был добродушен, как, собственно, и его отец. В сердце его одно пламенное чувство быстро сменилось другим, злоба отступила перед великодушием, и он воскликнул, что пощадит дядю, и тогда Иаков заплакал от радости, покрывая поцелуями край Елифазова платья и его руки и ноги. К волнению мальчика примешивались неловкость и легкое отвращенье. Немного досадуя на собственную нерешительность, он резко заявил, что беглецы должны отдать ему свою поклажу, ибо все, что сунула дяде Ревекка, принадлежит обиженному брату Исаву. Иаков попытался было вкрадчивой речью изменить и это решенье, но Елифаз на него презрительно прикрикнул, а затем так основательно обобрал Иакова, что у того и вправду осталась только голова на плечах: золотые и серебряные сосуды, кувшины с лучшим вином и маслом, малахитовые и сердоликовые запястья и бусы, куренья и медовые конфеты – все это пришлось отдать Елифазу; даже оба раба, тайком ушедшие со двора, один из которых был, кстати сказать, ранен копьем в плечо, а также их верблюды должны были отправиться с преследователями обратно – и в полном одиночестве, приторочив к седлу несколько глиняных кувшинов с водой, Иаков мог – кто знает в каком состоянии духа, – продолжать сумрачный свой путь на восток.

Вознесение главы

Он спас свою жизнь, свою драгоценную, обетованную жизнь, для бога и для будущего – что значили в сравнении с ней золото и сердолик? Жизнь – это было самое главное, и юный Елифаз был обманут, в сущности, еще великолепнее, чем его родитель, но чего это стоило! Не просто дорожной клади, а всей, без остатка, мужской чести; нельзя было опозориться больше, чем Иаков, который валялся в ногах у какого-то молокососа и скулил с искаженным от слез и от размазанной пыли лицом. А что было потом? А что было сразу же после такого униженья?

Сразу же или через несколько часов после этого, вечером, при свете звезд, он достиг места под названием Луз, дотоле ему неизвестного, так как вообще вся эта сторона была для него уже чужой, – расположенного на одном из уступчатых, засаженных виноградом холмов, которые повсюду возвышались окрест. Немногочисленные кубики домов этой деревни теснились на середине испещренного тропинками склона, и так как внутренний голос посоветовал обедневшему путнику остановиться здесь на ночлег, он погнал своего норовистого, еще совершенно оторопелого после недавних плачевно-бурных событий верблюда, перед которым ему было немного стыдно, к этому холму. У колодца, который находился с внешней стороны глинобитной ограды, он напоил животное и смыл с лица своего следы позора, что уже значительно улучшило его настроение. Однако просить приюта у жителей Луза он все-таки не стал, чувствуя себя нищим, а повел в поводу живую свою собственность, единственное теперь свое достоянье, мимо селенья вверх по холму, к его тупой вершине, вид которой заставил его пожалеть, что пришел он сюда не раньше, не своевременно. Ибо священный каменный круг, гилгал, показывал, что место это – убежище для преследуемых, и тому, кто остано-

вился бы здесь, юный Елифаз, разбойник с большой дороги, не посмел бы причинить никакого вреда.

Посредине гилгала, торчком, стоял особый камень, угольно-черный, конический, явно упавший с неба, так что в нем дремали звездные силы. Своей формой он напоминал детородный член, и поэтому Иаков благочестиво поднял кверху глаза и руки и почувствовал новый прилив сил. Здесь он решил провести ночь, покуда ее снова не скроет день. Изголовьем Иаков избрал одну из каменных глыб круга. «Ну-ка, – сказал он, – отрадный старый камень, вознеси на ночь голову беспокойному страннику!» Он подстелил головное покрывало, вытянулся на земле лицом к фаллическому высланцу неба, поглядел, щурясь, на звезды и уснул.

Тут-то и началось, тут-то и пошло, тут-то и в самом деле, должно быть, среди ночи, после нескольких часов глубокого забытья, голова его была вознесена от всякого позора к величественнейшему видению, где соединились все таившиеся в его душе представленья о царственном и божественном, которыми она, эта униженная, но втайне смеявшаяся над своим униженьем душа, наполнила, чтобы утешиться и подкрепиться, пространство своего сна… Ему не снилось, что он находится в каком-то другом месте. Он и во сне опирался головою на камень и спал. Но сквозь веки его проникало ослепительное сиянье; он видел сквозь них, видел Вавилон, видел пуповину, связывающую небо и землю, лестницу, ведущую к высочайшему дворцу, ее бесчисленные, огненные и широкие, уставленные астральными стражами ступени, поднимавшиеся на невероятную высоту, к верховному храму и к престолу верховного владыки. Они не были ни каменными, ни деревянными, ни из какого-либо другого земного вещества; казалось, что они сооружены из раскаленной руды, из звездного огня; планетное их сиянье безмерно широко разливалось по земле, переходя выше и дальше в ослепительный блеск, глядеть на который можно было только сквозь веки, потому что открытые глаза его не выдержали бы. Пернатые человекозвери, херувимы, коровы в венцах с лицами дев и со сложенными крыльями неподвижно стояли по обеим сторонам лестницы, глядя прямо вперед, а пространство между их расставленными ногами было заполнено металлическими плоскостями, на которых рдели священные письмена. Скорчившиеся боги-быки с жемчужными пронизями на лбу и локонами такой же длины, как свисавшие у них со щек бахромчатые, завитые внизу бороды, поворачивали головы наружу и глядели на спящего спокойными глазами из-под длинных ресниц – в чередованье с сидевшими на хвостах львами, выпуклые груди которых были покрыты огненной шерстью. Эти, казалось, фыркали четырехугольниками разверстых своих пастей, отчего и топорщились их усы под свирепыми и тупыми носами. А между зверями кишмя кишели служители и гонцы, поднимавшиеся и спускавшиеся по ступеням медленной чередой, которая несла в себе счастье звездного закона. Нижняя часть тела была у них окутана платьем, покрытым остроконечными письменными знаками, а груди их казались слишком мягкими для юношеских и слишком плоскими для женских грудей. Одни, подняв руки, несли на головах чаши, другие, поддерживая согнутой рукою скрижаль, указующе водили по ней пальцем; многие играли на арфах, флейтах и лютнях, иные били в литавры, а следом за ними двигались песнопевцы, которые наполняли пространство своими высокими, металлически звонкими голосами, прихлопывая в лад пенью в ладоши. Согласные звуки гремели по всей длине этого вселенского подъема, оглашая его снизу доверху вплоть до того ярчайшего сиянья, где находилась узкая огненная арка, ворота дворца с пристенными столбами и высокими башнями. То были столбы из золотых кирпичей с выпуклыми изображениями чешуйчатых зверей, чьи передние лапы были как у барса, а задние – как у орла, а огненные ворота подпирали с обеих сторон существа с бычьими ногами, четырехрогим венцом, алмазными глазами и завитой, курчавыми прядями, бородой на щеках. Перед воротами стояли престол царской мощи и золотая скамеечка для ее ног, а позади престола – лучник с колчаном, державший опахало над венцом мощи. А одета она была в наряд из лунного света с бахромой из маленьких языков огня. Руки бога были чрезвычайно жилистыми и сильными, и в одной он держал

знак жизни, а в другой – чашу для питья. Синюю его бороду сжимали в жгут медные кольца, и лицо его с нависающими бровями было грозно в суровой своей доброте. Перед ним стоял еще кто-то с широким обручем вокруг головы, похожий на визиря и главного приближенного престола; и он-то, заглянув в лицо мощи, указал ладонью на спавшего на земле Иакова. Господь кивнул головой и спустил со скамеечки жилистую свою ступню, а главный помощник поспешно нагнулся и убрал скамеечку, чтобы господь встал. И бог встал с престола и протянул в сторону Иакова знак жизни и выпятил грудь, набрав в нее воздуху. И голос его был великолепен, потому что сливался в нежно-могучей гармонии со звуками арф и со звездной музыкой тех, что спускались и поднимались. А сказал он: «Я есмь! Я господь Авирама и Ицхака и твой. Око мое взирает на тебя, Иаков, с дальновидной приязнью, и семя твое будет многочисленно, как песок земной, и благословен ты у меня перед всеми, и овладеешь вратами врагов своих! И буду хранить тебя там, куда ты пойдешь, и верну тебя богатым в ту землю, где ты сейчас спишь, и никогда тебя не покину. Я есмь, и такова моя воля!» И голос царя растворился в гармонии звуков, и Иаков проснулся.

Вот это был сон, вот это было вознесенье главы! Иаков плакал от радости и нет-нет да смеялся над Елифазом, бродя под звездами по кругу камней и глядя на тот из них, который приподнял ему голову для такого виденья. На какое место, думал он, я случайно набрел! Ему было холодно, и, дрожа от ночной прохлады и от волненья, он говорил: недаром дрожу я, недаром! Жители Луза плохо представляют себе, что это за место, и хотя они устроили здесь убежище и соорудили гилгал, они не знают, как не знал я, что это самое настоящее место присутствия, ворота величия, соединенье неба с землей! Затем, полный тайного смеха, он проспал крепким и гордым сном еще несколько часов, но на рассвете встал, спустился в Луз и направился к торговым рядам. Ибо в складке пояса у него был припрятан перстень с ярко-синей лазуритовой печаткой, которого не нашли Елифазовы слуги. Он продал его ниже цены, за толику сухой пищи и несколько кувшинов масла, ибо именно масло нужно было ему, чтобы сделать то, что он считал теперь своим долгом. Прежде чем продолжить свой путь на восток и к воде Нахарина, он еще раз поднялся на место, где видел сон, поставил камень, на котором спал, памятником, стоймя, и щедро полил его маслом с такими словами: «Вефиль, Вефиль пусть зовется отныне это место, а не Луз, ибо это дом присутствия и бог-вседержитель открылся здесь униженному и укрепил его душу сверх меры. Ведь конечно, он впал в преувеличение и превзошел всякую меру, воскликнув в лад арфам, что семя мое умножится, как песок, а имя мое будет в почете и славе. Но если Он будет со мной, как Он обещал, и сохранит шаги мои на чужбине, если Он даст мне хлеб и одежду для моего тела, позволит мне вернуться в дом Ицхака целым и невредимым, то пусть богом моим будет Он, а не кто другой, и я буду отдавать Ему десятую часть всего, что Он мне дарует. Если же вдобавок сбудутся и те слова, какими Он, превосходя всякую меру, укрепил мою душу, то пусть этот камень превратится в святилище, где Ему будут непрестанно приносить пищу и, кроме того, неукоснительно ублажать его нюх пряными воскуреньями. Это обет, это обещанье за обещанье, и пусть бог, пусть бог-вседержитель действует теперь по своему усмотренью».

Исав

Вот как было с Елифазом, жалким все же птенцом по сравнению с Иаковом, униженной жертвой его гордости, который, благодаря неведомым Елифазу запасам душевных сил, с легкостью восторжествовал над оскорблениями, нанесенными ему каким-то мальчишкой, да и всегда сподоблялся откровений как раз в самые плачевные свои часы. И разве с отцом получилось не то же, что с сыном? Мы имеем в виду ту встречу с самим Исавом, на которую намекнул Иаков в разговоре, нами подслушанном. В этом случае вознесенье главы и великое ободрение состоялось заранее – в Пениэле, в ту страшную ночь, когда он добыл себе имя, над кото-

рым посмеивались Симеон и Левий. И, уже обладая именем, то есть наперед зная, что победа за ним, он пошел навстречу своему брату, защищенный в глубине души от любого, если уж его не удастся избежать, униженья, защищенный даже от унизительности своего страха перед встречей, которая должна была так убедительно доказать непохожесть одного близнеца на другого.

Он не знал, в каком настроении приближается к нему Исав, оповещенный через гонцов им самим же, так как выяснить отношения казалось необходимым. От лазутчиков ему было известно, что тот идет во главе четырехсот человек, а это одинаково могло означать и почесть, как следствие подобострастной лести его, Иакова, посольства, и большую опасность. Он принял меры предосторожности. Самое дорогое, Рахиль и ее пятилетнего сына, он спрятал позади, среди вьючного скота, дочь свою Дину, дитя Лии, положил, как мертвую, в сундук, где она чуть не задохнулась, а других детей с их матерями разместил у себя за спиной, выставив вперед наложниц и их потомство. Он выстроил предназначенный в подарок скот и пропустил его с пастухами вперед, двести коз и козлов, столько же овец и баранов, тридцать дойных верблюдиц, сорок коров с десятью бычками, двадцать ослиц с их ослятами. Он велел гнать их отдельными гуртами, с промежутками, чтобы, встречая очередной гурт, Исав, в ответ на свой вопрос, узнавал, что это подарок ему, господину, от Иакова, его раба. И если в час, когда Исав покидал Сеирские горы, его отношение к возвращавшемуся на родину брату было очень еще неопределенно, двойственно и неясно ему самому, то в час, когда он впервые после двадцатипятилетней разлуки увидел Иакова воочию, Исав находился уже в самом веселом расположении духа.

Но как раз эта веселость, хотя он сам же всячески ее добивался, была Иакову крайне неприятна, и едва поняв, что теперь, что по крайней мере сию минуту, бояться ему нечего, он уже с трудом скрывал свое отвращенье к безмозглому Исавову благодушию. Он навсегда запомнил, как тот приближался… Близнецам Ревекки, «душистой траве» и «колючему кусту», как называли их уже в детстве в местах между Хевроном и Беэршивой, было тогда по пятидесяти пяти лет. Но «душистая трава», гладкокожий Иаков, никогда не отличался особенной моложавостью, будучи с самого детства шатролюбив, задумчив и робок. А теперь он уже многое испытал на своем веку, Иаков, человек на вершине лет, полный достоинства, благодаря своим историям, исполненный духовной тревоги и отягощенный возросшим своим богатством, – тогда как Исав, хотя он и поседел не меньше, чем брат, казался все тем же бездумным и непримечательным малым, который то воет, как зверь, то полон животного легкомыслия и даже лицом нисколько не изменился; ведь внешнее возмужание большинства товарищей нашей юности в том и состоит, что у них на мальчишеском лице вырастает борода и появляется морщина-другая, и оно остается таким же мальчишеским, только что с бородой и морщинами.

Первым, что услышал Иаков от Исава, была его игра на свирели, с детства вошедшее у него в привычку высокое и глухое гуденье на связке тростниковых, скрепленных поперечными бечевками дудок разной длины – излюбленном инструменте сеирских горцев, вероятно, ими же изобретенном, из которого Исав, еще в детстве переняв его у них, довольно искусно извлекал звуки толстыми своими губами. Глупая и дикая поэзия этих звуков, это безответственное, прижившееся на преисподнем юге «тра-ля-ля» было издавна ненавистно Иакову, и в нем взыграло презренье, когда он услыхал его снова. Вдобавок Исав плясал со своей дудкой у рта, с луком за спиной и клоком козлиной шкуры на чреслах, но без всякой другой одежды, в которой он и впрямь не нуждался, будучи волосат настолько, что шерсть буквально свисала у него с плеч седовато-рыжими космами, он плясал и подпрыгивал, остроухий, с приплюснутым к безусой губе носом, пешком идя по равнине впереди своего ополчения навстречу брату, он дудел, кивал головой, смеялся и плакал, и со смесью презренья, стыда, жалости и отвращенья Иаков повторял про себя что-то похожее на «Боже мой, боже мой!».

Спешился, впрочем, и сам он, чтобы, насколько позволяло отечное его бедро, поспешить, подобрав платье, навстречу этому пляшущему козлу и уже на ходу представить ему

все предусмотренные свидетельства самоуниженья и самоуничиженья, каковые после ночной победы мог позволить себе без истинного ущерба для собственного достоинства. Раз семь, несмотря на боль, падал он ниц, поднимая разжатые руки над опущенной головой, и так и подполз к ногам Исава, к которым прижался лбом, меж тем как руки его гладили поросшие шерстью колени брата, а язык твердил слова, определявшие отношения между братьями, несмотря на благословение и проклятье, недвусмысленно выгодным для Исава образом, слова, которые должны были обезоружить его и смирить: «Господин мой, я раб твой!» Но Исав держался не только миролюбиво, но и ласково сверх всякого и даже, вероятно, собственного ожидания; ибо весть о возвращении брата привела его в состояние общей и неясной взволнованности, которая еще перед самой встречей легко могла обернуться не растроганностью, а яростью. Он силой поднял брата из праха, прижал его, громко всхлипывая, к своей волосатой груди и принялся, чмокая, целовать его в щеки и в губы, так что столь щедро обласканному стало вскоре невмоготу. Однако он тоже плакал – отчасти потому, что теперь в нем разрядилось напряженье неопределенности и страха, отчасти же по нервной своей мягкости, о времени, о жизни, о судьбе человеческой вообще. «Братец мой, братец мой! – лепетал Исав между поцелуями. – Забудем все! Забудем всякие пакости!» – такое неприятно откровенное великодушие способно было скорей унять слезы Иакова, чем вызвать новые их потоки – а затем стал расспрашивать брата, отложив покамест вопрос, который, собственно, и беспокоил его, – о встреченных им стадах, и для начала с высоко поднятыми бровями осведомившись о женщинах и детях, сидевших на верблюдах позади Иакова. Они спешились и были представлены: сначала перед космачом склонились наложницы со своими четырьмя детьми, затем Лия со своими шестью и, наконец, прекрасноокая Рахиль с Иосифом, которых привели из дальнего тыла, и при каждом новом имени Исав прикладывался к свирели толстыми своими губами, он хвалил детей за их складность, а женщин за их груди, и, громко удивившись близорукости Лии, предложил ей какое-то едомское снадобье для ее, как всегда, воспаленных глаз, за что та, кипя от злости, поблагодарила его, поцеловав ему пальцы ног.

Даже чисто внешне братьям было трудно друг друга понять. Беседуя, оба искали в памяти слова своего детства и находили их лишь насилу; Исав объяснялся на грубом сеирском наречии, отличавшемся от говора тех мест, где прошло их детство, синайскими и мидианитскими примесями, а Иаков привык в стране Нахараим говорить по-аккадски. Оба то и дело прибегали к жестам, но Исав сумел все-таки довольно ясно выразить свой интерес к встреченным на дороге тучным стадам, и то, как он церемонно отказывался принять этот роскошный подарок, когда Иаков заявил, что надеется снискать им милость перед лицом своего господина, – свидетельствовало о хороших манерах. Он придал своей церемонности форму беспечного равнодушия к имуществу, богатству и всякой такой докуке.

– Ах, братец мой, что за глупости, ничего мне не нужно! – восклицал он. – Оставь себе свои стада, и владей ими, и храни их, я дарю их тебе обратно, я и без них готов забыть и простить эту гнусную старую шалость! Я забыл, я простил ее, я примирился со своей участью и доволен жизнью. Ты думаешь, мы в преисподней только и знаем, что вешаем носы? Хи-хи, ха-ха, это совершенно неверное представленье! Мы, конечно, не шествуем, закатив глаза, с благоговением на челе, но мы тоже живем, и живем, поверь мне, по-своему довольно весело! Нам тоже доставляет удовольствие спать с женщиной, и в сердце нам тоже вложена любовь к ребятишкам. Ты думаешь, проклятие, которым я обязан тебе, дорогой ты мой мошенник, сделало меня шелудивым нищим и я подыхаю в Едоме с голоду? Прямо! Я там господин, я велик среди сыновей Сеира. У меня вина больше, чем воды, и вдоволь меда, а масла, плодов, ячменя и пшеницы больше, чем я могу съесть. Те, кто подо мной, меня кормят, они, что ни день, шлют мне хлеб, мясо и птицу, и все уже приготовлено, так что садись да ешь, и дичи у меня хоть отбавляй, – и сам добываю, и они охотятся со своими псами в пустыне, – а молочной пищи столько, что, бывает, полночи рыгаешь, поевши. Стада в подарок? Чтобы искупить и пре-

дать забвению старую пакость, которую учинили мне ты и та женщина? Плевал я на это – тьфу! – И он сделал губами соответствующее движенье. – Зачем нам с тобой подарки? Главное – это сердце, а мое сердце простило и забыло эту давнюю подлость, когда ты, плут ты этакий, обложил себя козлиными шкурами, чтобы старик принял их за мои патлы, я смеюсь над этим сегодня, на старости лет, а ведь тогда я плакал кровавыми слезами и послал Елифаза тебе вдогонку, к великому твоему страху, бабий ты смех!

И он опять обнял брата и снова принялся чмокать его в лицо, что Иаков только, страдая, терпел без всяких ответных объятий и нежностей. Речь Исава вызвала у него глубокое отвращенье, он нашел ее в высшей степени неприятной, глупой и безалаберной и желал одного – поскорее избавиться от этого чужого родственника, прежде, однако, окончательно с ним рассчитавшись и еще раз откупив у него первородство считанной данью, тем более что Исаву и самому хотелось, чтобы его уговорили принять ее. Поэтому последовали новые вежливости, свидетельства смиренья и настойчивые просьбы, и когда Исав наконец согласился благосклонно принять подарок из рук брата, добрый этот бес был и в самом деле полон расположения к благословенному и относился к примирению гораздо серьезнее и добросовестнее, чем это казалось допустимым тому.

– Ах, братец мой, – воскликнул он, – теперь ни слова больше об этом старом, несчастном деле! Разве мы не вышли из чрева одной матери, один за другим, почти одновременно? И ты, как тебе известно, держался за мои пятки, а я, как более сильный, вытянул тебя на свет за собой. Мы, правда, немного толкали друг друга в утробе, да и вне утробы тоже толкали, но не станем больше об этом вспоминать! Будем жить вместе по-братски, как близнецы перед господом, будем есть из одной миски и не будем разлучаться никогда в жизни! Итак, направимся в Сеир и поселимся вместе!

«Благодарю покорно! – думал Иаков. – Чтобы и я стал в Едоме козлом-дударем и вечно жил рядом с тобой, остолоп? Не того хочет бог, не того хочет моя душа. Все, что ты говоришь, – это неприятный для моего слуха вздор, ибо то, что произошло между нами, незабываемо. Ты сам упоминаешь об этом при каждом движении языка и мнишь, убогая голова, что сможешь забыть это и простить?»

– Слова моего господина, – сказал он вслух, – восхитительны, и каждое в отдельности отвечает сокровеннейшим желаньям его раба. Но господин мой видит, что со мной малые дети и даже младенцы, как вот этот пятилетний, Иегосиф по имени, и он плохо переносит дорогу; затем мертвое, увы, дитя в ларе, мчаться с которым очертя голову было бы неблагочестиво, и еще дойный скот, мелкий и крупный. Все это погибнет, если я погоню их вперед. Поэтому пусть господин мой пойдет впереди, а я медленно пойду за ним, сообразуясь с силами своего скота и своих детей, и приду в Сеир немного позднее, и мы будем жить вместе в задушевном согласии.

Это был отказ в мягкой форме, и выпучивший глаза Исав сразу почти так это и понял. Он сделал, правда, еще одну попытку, предложив брату оставить с ним для охраны несколько человек из своего отряда. Но Иаков ответил, что это совершенно не нужно, если только он приобрел благоволения в очах своего господина, и тут уж стала совсем ясна неискренность его согласия с предложением жить вместе. Исав пожал волосатыми плечами, повернулся спиной к нежному и неверному Иакову и направился в свои горы со скотом и со свитой. Иаков сперва поплелся за ним, но при первой же возможности повернул и ушел в сторону.

Раздел третий
История Дины

Девочка

Поскольку пришел он тогда в Сихем, то сейчас уместно будет изложить сихемские истории и тяжкие передряги, причем изложить их в соответствии с действительностью, то есть отказавшись от тех маленьких исправлений правды, какие позднее предпринимались в «прекрасноловных беседах», построенных по формуле «Знаешь ли ты об этом? – Знаю доподлинно», – исправлений, с какими они потом и вошли в родовое и мировое предание. Если мы описываем печальные и в конечном счете кровавые события той поры, которые запечатлелись на усталом и полном значительности лице Иакова наряду с другими, составляя с ними почетное бремя воспоминаний его старости, то делаем это лишь ради нашего рассмотрения его душевного склада, тем более что его поведение в этом деле может лучше всего объяснить, почему Симеон и Левий тайком толкали друг друга в бок, когда отец пускал в ход свое торжественное, данное от бога звание.

Несчастной героиней шекемских приключений была Дина, единственная дочка Иакова, рожденная Лией в начале второго периода плодовитости, – да, именно в начале, а не в конце, не после Иссахара и Завулона, как то было записано много позднее. Письменная эта хронология не может быть верна, потому что если бы она была верна, то ко времени своего несчастья Дина физически еще не созрела бы для него, была бы ребенком. В действительности она была на четыре года старше Иосифа, и значит, в момент прибытия людей Иакова в Сихем ей было девять, а в момент катастрофы тринадцать лет – на два весьма и весьма важных года больше, чем получилось бы при вычислительной проверке традиционной хронологии, ибо как раз за эти два года она расцвела, стала женщиной, и женщиной такой привлекательности, какой только можно было ожидать от дочери Лии, а на время даже еще привлекательнее, чем того в общем-то можно было ожидать от этой крепкой, но некрасивой породы. Она была истинное дитя месопотамской степи, которой дана ранняя и чрезвычайно богатая цветами весна, но где за весной не следует полного жизни лета; ведь уже в мае все это волшебное великолепие выжигается безжалостным солнцем. Таковы были физические задатки Дины; а события, со своей стороны, способствовали тому, чтобы превратить ее до срока в усталую и увядшую женщину. Что же касается ее места в ряду потомков Иакова, то указание писцов на этот счет ничего не значит. Их рукой водили небрежность и равнодушие, когда они ставили имя этой девочки просто в конце перечня детей Лии, а не на подобающем ему месте – чтобы не прерывать перечисления сыновей такой несущественной и даже докучливой мелочью, как имя девочки. Кому нужна точность, когда речь идет о девочке? Разница между рожденьем девочки и настоящей бездетностью была незначительна, и появление на свет Дины, если верно определить его время, послужило как бы переходом от недолгого бесплодия Лии к новому периоду плодовитости ее чрева, который всерьез начался лишь тогда, когда родился Иссахар. Каждый школьник знает сегодня, что у Иакова было двенадцать сыновей, и помнит наизусть их имена, а о существовании несчастной маленькой Дины широкая публика понятия не имеет и удивляется, когда упоминают о ней. Между тем Иаков любил ее так, как только мог он любить дитя неправедной, он спрятал ее от Исава в похоронном ларе, и когда пришло время, страдал за нее всей душой.

Бесет

Итак, Израиль, благословенный перед господом, с домочадцами и с имуществом, со своими стадами, где одних овец было пять с половиной тысяч голов, с женами и детьми, со служанками, рабами, погонщиками, пастухами, козами, ослами, вьючными и верховыми верблюдами, – итак, держа путь от Иавока после встречи с Исавом, Иаков, отец, переступил Иарден и, довольный, что ушел от нестерпимого зноя речной долины, а также от кабанов и барсов в ее ивняках, оказался в умеренно гористом краю плодородных, богатых цветами и журчащими ключами долин, где рос дикий ячмень и в одной из которых он набрел на место Шекем, уютное, многовековой древности, затененное скалой Гаризим селенье с толстой, построенной из нескрепленных каменных глыб обводной стеной, охватывавшей с юго-востока Нижний город, а с северо-запада – Верхний, который назывался Верхним и потому, что стоял на насыпи высотой в пять двойных локтей, но, кроме того, именовался так и в переносно-почтительном смысле, потому что весь почти состоял из дворца местного князя Еммора и прямоугольной глыбы храма Баал-берита – как самые высокие, оба эти здания и были первым, что бросилось в глаза людям Иакова, когда они вступили в долину, приближаясь к восточным воротам города. В Шекеме было около пятисот жителей, не считая египетского гарнизона человек в двадцать, начальник которого, очень молодой офицер родом из Дельты, был назначен сюда только для того, чтобы каждый год взыскивать непосредственно с князя Еммора и косвенно с купцов Нижнего города несколько кольцевидных золотых слитков, которые пересылались затем вниз в город Амуна, и непоступление которых сулило бы юному Усер-ка-Бастету (так звали этого военачальника) большие личные неприятности.

Можно представить себе, с какими тревожными чувствами узнали о приближении кочевого племени люди Шекема, оповещенные своими дозорными и возвращавшимися в город согражданами. Неизвестно было, что на уме у этих бродяг – добро или зло; в последнем случае им достаточно было обладать некоторой военной сноровкой и некоторым разбойничьим опытом, чтобы поставить Шекем, несмотря на его мощную стену, в незавидное положенье. Дух этого места не отличался отвагой, тяготея скорее к торговле, покою и миру, князь Еммор был брюзгливым стариком с больными, узловатыми суставами, а сын его, молодой Сихем – избалованным барчонком, имевшим собственный гарем, хлыщом, сластеной и неженкой, и при этих обстоятельствах жители с радостью доверились бы военной доблести оккупационного гарнизона, будь хоть малейшая возможность довериться ей. Однако этот сплоченный вокруг штандарта с изображением сокола и павлиньими перьями гарнизон, именовавший себя «отрядом, блестящим, как солнечный диск», не внушал никаких надежд в случае серьезной опасности, и прежде всего не внушал их начальник, упомянутый уже Усерка-Бастет, походивший на воина весьма отдаленно. Большой друг княжеского сынка Сихема, он знал две страсти, в служении которым доходил до сумасбродства: это были кошки и цветы. Родом он был из нижнеегипетского города Пер-Бастета, название которого здешнее произношение переделало в «Пи-Бесет», отчего сихемиты называли и его, начальника отряда, просто «Бесет». Местным божеством его города была кошачьеголовая богиня Бастет, и в своем кошкопоклонстве он был неистов: его постоянно окружали эти животные, не только живые, всех возрастов и мастей, но и мертвые, ибо множество закутанных кошачьих мумий стояло, опираясь о стены, в его жилище, и он плача приносил им в жертву молоко и мышей. С этой слабостью сходилась его любовь к цветам, которая, если бы она дополняла и уравновешивала какие-то более мужские склонности, могла бы быть названа прекрасной чертой, но из-за отсутствия таковых производила удручающее впечатление. Он неизменно носил широкий воротник из живых цветов, и даже самый пустяковый предмет его обихода непременно увенчивался цветами, что в отдельных случаях было просто смешно. Одевался он самым штатским образом: ходил в белом бати-

стовом платье, сквозь которое просвечивал набедренник, а руки его и торс были обвиты лентами, и никто никогда не видел его в латах, да и вообще единственным его оружьем была тросточка. Только благодаря известной грамотности «Бесет» вообще стал офицером.

Что касается его подчиненных, о которых он, кстати сказать, не очень-то пекся, то они хоть и постоянно, с таким же хвастовством, как и надписи, твердили о воинских подвигах прежнего царя их страны, Тутмоса Третьего, и египетского войска, завоевавшего под его руководством в семнадцати боевых походах все земли до реки Евфрата, но сами отличались главным образом по части гусиного жаркого и пива, а в остальных случаях, например во время пожара или при нападении бедуинов на примыкавшие к городу неукрепленные поселенья, оказывались самыми настоящими трусами – особенно коренные египтяне, ибо среди них были еще желтоватые ливийцы и даже несколько нубийских мавров. Когда они, только чтобы показать себя, пригнувшись и быстрым шагом, словно спасаясь бегством, проходили с деревянными своими щитами, копьями, серьгами и кожаными треугольниками поверх набедренников по узким шекемским улицам, сквозь толчею верховых ослов и верблюдов, продавцов арбузов и дынь, торгующихся у лавок купцов, – горожане обменивались у них за спиной презрительными взглядами. Еще воины фараона развлекались играми «Сколько пальцев» и «Кто тебя ударил?» и пением песен о тяжкой доле бойца, особенно бойца, которому приходится коротать свою жизнь в горемычном краю Аму, вместо того чтобы радоваться ей на берегах богатого стругами жизнетворца, и под узорчатыми колоннами «Но», просто города, города, не имеющего себе равных, Но Амуна, города бога. Что судьба и защита Шекема имела для них не больше значенья, чем зернышко хлеба, в этом, увы, сомневаться не приходилось.

Отповедь

Беспокойство горожан было бы еще сильней, если бы они могли подслушать разговоры, которые вели между собой старшие сыновья приближающегося вождя – те слишком близко касавшиеся Шекема планы, которые вполголоса обсуждали эти запыленные и на вид предприимчивые молодые люди, прежде чем сообщили о них отцу, отчитавшему их, правда, со всей решительностью за такие намеренья. Рувиму, или Ре'увиму, как звали, собственно, самого старшего, было в ту пору семнадцать лет, Симеону и Левию – соответственно шестнадцать и пятнадцать, пятнадцать лет было также Дану, сыну Валлы, мальчику изобретательному и хитрому, а стройному, подвижному Неффалиму столько же, сколько сильному, но мрачному Иуде, – четырнадцать. Эти-то сыновья Иакова и участвовали в упомянутых тайных совещаниях. Гад и Асир, хотя и они в свои одиннадцать и десять лет были уже крепкими и умственно зрелыми парнями, оставались тогда еще в стороне, не говоря уже о трех самых маленьких.

О чем шла речь? О том самом, о чем тревожились и в Шекеме. Те, что шушукались вне городской стены, эти до черноты загоревшие под нахаринским солнцем юнцы в подпоясанных лохматых кафтанах и со слипшимися от жары волосами, были довольно дикими, всегда готовыми взяться за нож и за лук сынами пастушеской степи, привыкшими к встречам с дикими быками и львами, а также к жестоким дракам с чужими пастухами из-за пастбищ. От кротости и богомыслия Иакова они мало что унаследовали, ум их имел направленье сугубо практическое и, отличаясь юношеской строптивостью, которая прямо-таки ищет обиды и повода к драке, был полон племенного гонора, гордости религиозным своим благородством, хотя им-то как раз оно совсем не было свойственно. Прожив долгое время бездомно, в пути, в движенье, они чувствовали себя рядом с жителями плодородной страны, куда пришли, кочевниками, которым их свобода и смелость дают преимущество перед оседлым людом, и стали подумывать о разбое. Дан был первый, кто шепотом предложил захватить и разграбить Шекем. Рувим, при всей своей порядочности всегда поддававшийся внезапным порывам, быстро увлекся этой затеей. Симеон и Левий, самые большие драчуны, закричали и заплясали

от удовольствия и боевого задора; воодушевление других было усилено гордым сознанием своего участия в заговоре.

Ничего неслыханного в их замыслах не было. Набеги на города и даже временный захват их вторгавшимися с юга или с востока жадными сынами пустыни, хабирами или бедуинами, если и не были в порядке вещей, то, во всяком случае, представляли собой явленье не такое уже редкое. Но предание, идущее не от горожан, а от хабиров или иврим в узком смысле слова, от сыновей Израиля, – это предание со спокойной совестью, не сомневаясь в дозволенности такого эпического очищенья действительности, утаивает от мира тот факт, что с самого начала в стане Иакова намечали определить отношения с Шекемом военным путем и что только сопротивление главы рода отсрочило реализацию этих планов на несколько лет, то есть до печального случая с Диной.

Сопротивление это было, правда, величественно и непреодолимо. Иаков находился тогда в особенно приподнятом настроении, что объяснялось его образованностью, значительностью его души, его склонностью к далеко идущим ассоциациям. Последние двадцать пять лет его жизни виделись выспреннему его уму в свете космического соответствия, они представлялись подобием кругооборота, сменой вознесения, сошествия в ад и воскресения, счастливейшим заполнением мифической схемы роста. Из Беэршивы он пришел некогда в Вефиль, в место, где ему привиделась великая лестница, это было вознесение. Оттуда – в степь преисподней, где ему пришлось служить, потеть и мерзнуть дважды семь лет, но где он стал затем очень богат, одурачив одного хитрого и в то же время глупого беса по имени Лаван, – по своей образованности он не мог не видеть в своем месопотамском тесте демона черной луны и злого дракона, который его обманул, но которого он потом тоже основательно обманул и обокрал, после чего со всем украденным, а главное, со своей освобожденной Иштар, прекрасноокой Рахилью, смеясь в сердце своем великим и благочестивым смехом, он сломал запоры преисподней, поднялся из нее и пришел к Сихему. Сихемская долина могла и не быть такой цветущей, какой он действительно увидел ее в час прибытия, чтобы показаться задумчивому его воображению местом весеннего обновления в круговороте его жизни; авраамитские воспоминания об этом месте тоже наполняли его сердце кротким благоговением перед ним. Да, если отпрыски Иакова вспоминали о воинственности Авраама, о смелом его нападении на полчища Востока и о том, как он обломал бока звездопоклонникам, то сам он, Иаков, вспоминал о дружбе праотца Авраама с Мелхиседеком, сихемским первосвященником, о благословении, полученном им от Мелхиседека, о дани признанья и симпатии, отданной Авраамом сихемскому божеству; и поэтому, когда большие его сыновья в осторожной и почти поэтической форме намекнули на грубую свою затею, они встретили у него самый скверный прием.

– Прочь от меня, – воскликнул он, – и немедленно! Позор вам, сыновья Лии и Валлы! Разве мы разбойники пустыни, которые налетают на страну, как саранча, как бич божий, и пожирают урожай земледельца? Разве мы бродяги, без имени и без роду, и нам нужно выбирать между попрошайничеством и воровством? Разве Авраам не был князем среди князей этой земли и братом владык? Или вы хотите добыть себе власть над городами мечом окровавленным и жить в постоянных войнах и страхах, – как будете вы пасти ягнят наших на лугах, которые против вас, а коз наших – в горах, которые оглашены ненавистью? Прочь, болваны! Посмейте только! Поглядите, все ли в порядке в хозяйстве, и нельзя ли уже отнять от маток трехнедельных ягнят, чтобы сберечь молоко. Пойдите, соберите верблюжьей шерсти, чтобы у нас была плотная одежда для пастухов и рабов, ведь как раз об эту пору верблюды линяют! Пойдите, говорю я, проверьте веревки шатров и петли на крышах шатров, не прогнило ли что-нибудь, чтобы не случилось беды, не рухнул дом над Израилем. А я, знайте это, препояшусь и пойду под ворота города для мирной и мудрой беседы с горожанами и пастырем их Еммором, чтобы заключить с ними письменный договор и получить у них землю и вести с ними торговлю себе на пользу и им не в убыток.

Договор

Произошло это так. Иаков раскинул свой стан неподалеку от города, у купы старых шелковичных и скипидарных дерев, показавшейся ему священной, среди волнистого простора лугов и пашен, откуда видны были голые утесы горы Эвал и где возвышался скалистый вверху, но благословенный у своего подножья Гаризим; послав отсюда к пастырю Еммору в Шекем трех человек с хорошими подарками – связкой голубей, лепешками из сушеных фруктов, светильником в виде утки и несколькими красивыми кувшинами с изображениями рыб и птиц, – он велел передать, что великий странник Иаков хотел бы переговорить под воротами с главами города насчет проживанья и прав. Был назначен час встречи, и когда он наступил, подагрик Еммор со своими домочадцами и со своим сыном Сихемом, вертлявым юнцом, вышли из восточных ворот; вышел из любопытства и Усерка-Бастет – в воротнике из цветов и с несколькими кошками; с другой стороны прибыл исполненный достоинства Иаков бен Ицхак – в сопровождении старшего своего раба Елиезера и в окружении великовозрастных своих сыновей, которым велено было вести себя в этот час безупречно вежливо; таким образом, стороны встретились под воротами, и там же, под воротами и перед ними, состоялись переговоры, ибо ворота эти представляли собой тяжелое строение, палатообразно выступавшее наружу и внутрь, а внутри была рыночная и судная площадь, и туда набилось много народу, чтобы из-за спин знати наблюдать за совещанием, которое началось, как того требовала учтивость, со всяческих церемоний, да и вообще отнюдь не спешило приступить к делу, так что продлилось шесть часов и торговцы на рыночной площади успешно распродали свой товар. После первого обмена любезностями стороны сели друг против друга на походные сиденья, циновки и коврики; было подано угощение: пряное вино и простокваша с медом; долго говорили только о здоровье глав и их близких, затем о дорожных условиях по обе стороны «стока», затем о еще более посторонних вещах; к тому, ради чего встретились, подбирались словно бы нехотя, пожимая плечами, снова и снова отвлекаясь от этого, как будто предлагая друг другу совсем об этом не говорить, именно потому, что это и было существом разговора, делом, предметом, которому, ради высшей человечности, непременно следовало придать видимость чего-то презренного. Ведь, в сущности, роскошь неделовитости и мнимое, чисто почетное господство прекрасной формы, а значит, благородно-беспечная трата времени на нее – это и есть достойное человека благо, даруемое цивилизацией, а не просто природой.

Впечатление, произведенное Иаковом на горожан, было самым благоприятным. Если не с первого взгляда, то вскоре после начала переговоров они поняли, с кем имеют дело. Это был владыка и князь милостью божьей, аристократ по духовным своим качествам, облагораживавшим и его внешность. Тут оказало свое действие то самое благородство, которое в глазах народа издавна было приметой преемников или новых воплощений Авраама и, нисколько не завися от рожденья, основываясь на духе и форме, обеспечивало этому типу людей религиозный авторитет. Волнующая кротость и глубина взгляда Иакова, совершенное его благообразие, изысканность его жестов, дрожанье его голоса, его просвещенная и цветистая, построенная на тезисах и антитезисах, созвучиях мыслей и мифических намеках речь настолько расположила к нему в первую очередь подагрика Еммора, что тот вскоре поднялся и, подойдя к шейху, поцеловал его, чем снискал громкое одобрение народа, толпившегося во внутренней палате ворот. Что касалось просьбы чужеземца, которая была известна заранее и имела в виду право постоянного жительства, то она была для градоправителя несколько затруднительна, ибо, если бы дальней и высшей инстанции донесли, что он, Еммор, отдает свою землю хабирам, это навлекло бы на его старость немалые неприятности. Однако взгляды, которыми он безмолвно обменялся с начальником гарнизона, проникшимся таким же теплым чувством к Иакову, как он сам, успокоили его в этом отношении, и, открыв переговоры красивым и,

разумеется, не принятым всерьез, а вызвавшим лишь ответный поклон предложением, чтобы Иаков взял землю и права просто в подарок, Еммор назвал довольно высокую цену: он потребовал сто шекелей серебром за клин в три квадратных десятины и, готовый к упорному торгу, прибавил, что это, конечно, пустяки для такого покупателя и продавца. Но Иаков не торговался. Душа его была взволнована и окрылена подражаньем, повтореньем, возобновленьем. Он был Авраамом, который пришел с востока и покупал у Ефрона поле, двойную усыпальницу. Разве прародитель спорил о цене с главой Хеврона и детьми Хета? Столетий как не бывало. Что было когда-то, происходило сейчас. Богатый Авраам и богач с востока Иаков платили с достоинством сразу: рабы-халдеяне притащили весы и каменные гири. Старший раб Елиезер вышел вперед с глиняным сосудом, полным серебра в кольцах; подбежавшие писцы Еммора, присев, стали составлять мирную и торговую грамоту по всем правилам. Была взвешена мзда за поле и пастбище, договор имел священную силу, и проклят был тот, кто его нарушит. Люди Иакова были сихемитами, полноправными гражданами. Они могли входить и выходить через городские ворота когда угодно. Они могли свободно передвигаться по стране и вести в ней торговлю. Их дочерей могли брать в жены сыновья Шекема, а дочери Шекема – их сыновей в мужья. Таков был закон, и нарушитель его на всю жизнь лишал себя чести. Деревья на купленном поле принадлежали также Иакову – и враг закона тот, кто это оспорит. Усер-ка-Бастет, как свидетель, оттиснул на глине жука своего перстня, Еммор – свой камень, Иаков – печатку, висевшую у него на шее. Свершилось. Последовал обмен поцелуями и любезностями. Вот как поселился Иаков у места Сихем в стране Ханаан.

Иаков живет у Шекема

«Знаешь ли ты об этом? – Знаю доподлинно». И вовсе не знали этого, а тем более доподлинно, пастухи Израиля, когда поздней, у костров, делали это предметом «прекрасноречивых бесед». Со спокойной совестью искажали они одни события и умалчивали о других ради чистоты этой истории. Не упоминая о том, как криво усмехнулись тогда же, при подписании договора, сыновья Иакова, особенно Левий и Симеон, они изображали дело так, будто договор был заключен только тогда, когда история с Диной и княжеским сыном Сихемом уже началась, – да и началась-то она не совсем так, как они это «знали». По их рассказу выходило, что известное условие, поставленное Сихему касательно дочери Иакова, составляло одну из статей документа о братстве, – а условие это было поставлено совершенно особо и совсем не в тот момент, который они будто бы «доподлинно знали». Сейчас мы это объясним. Началом всего был договор. Без него люди Иакова вообще не поселились бы близ Шекема и дальнейшее не могло бы произойти. Они уже почти четыре года прожили в шатрах близ Шекема, у входа в долину, когда начались неурядицы; они растили свою пшеницу на пашне и свой ячмень в поле; они собирали масло своих деревьев, пасли свои стада и торговали этим в стране; они выкопали там, где поселились, колодец в четырнадцать локтей глубиной и очень широкий, и выложили его кирпичом, колодец Иакова… Колодец – такой глубины и ширины? Зачем вообще понадобился колодец детям Израиля, если у дружественных им горожан имелся колодец перед воротами, а в долине было полно родников? Да ведь сразу он им и не понадобился, они начали рыть его не тотчас по прибытии, а несколько поздней, когда оказалось, что для них, иврим, жизненно необходимо иметь в своем распоряжении большой, не иссякающий и при величайшей засухе запас воды на собственной территории. Орудие братского сближения было создано, и кто сомневался в нем, из того надлежало выпустить потроха. Но создано оно было главарями, хотя и под одобрительные возгласы соответственно настроенного тогда народа, а в глазах людей Шекема люди Иакова оставались все-таки чужаками, пришельцами – к тому же не очень приятными и безобидными, а весьма чванными и склонными поучать, убежденными в религиозном своем превосходстве надо всем миром и умевшими при про-

даже скота и шерсти заботиться о своей выгоде так, что у тех, кто имел с ними дело, страдало чувство собственного достоинства. Словом, братство не было глубоким, оно ослаблялось разными помехами, в частности тем, что уже вскоре евреям, чтобы немного их ограничить, запретили пользование наличными водоемами, не упомянутое, кстати сказать, и в орудии, – отчего и появился большой колодец Иакова, свидетельствующий о том, что еще до тяжких раздоров отношения между племенем Израиль и жителями Шекема были такими, какими они обычно бывали между вторгшимися хабирскими племенами и коренными жителями страны, а не такими, какими они должны были стать согласно договору, заключенному под городскими воротами.

Иаков знал это и не знал этого, то есть он не обращал на это внимания, направляя кроткий свой ум на дела религиозные и семейные. Тогда у него еще была жива Рахиль, прекрасноокая, тяжко доставшаяся, опасно похищенная и спасительно уведенная в страну отцов, праведная и самая любимая, услада глаз его, радость сердца, утеха души. Иосиф, отпрыск ее, истинный сын, тогда подрастал; он превращался – о дивная пора! – из младенца в мальчика, и притом в такого красивого, смышленого, приятного, обворожительного, что при виде его у Иакова душа переполнялась восторгом, и уже тогда старшие его сыновья стали переглядываться по поводу сумасбродства, до которого доходил старик в своей любви к этому языкастому шалуну. Кроме того, Иаков часто отлучался от хозяйства, бывал в отъезде, в пути. Он установил связи с городскими и сельскими единоверцами, посещал посвященные Авраамову богу места на горах и в долинах, выяснял в беседах природу единственного и всевышнего. Можно не сомневаться, что прежде всего он спустился к полудню, чтобы после разлуки, длившейся почти целый человеческий век, обнять отца и, показав ему себя богатым, подтвердить перед ним свою благословенность, которая столь очевидным образом пошла ему, Иакову, впрок. Ибо Ицхак был тогда еще жив, он был очень стар, и давно совершенно ослеп, а Ревекка уже сошла в царство мертвых. По этой-то причине Исаак и перенес место своих жертвоприношений, находившееся прежде у дерева «Иагве эль олам» близ Беэршивы, к пророческому теребинту возле Хеврона – чтобы находиться в непосредственной близости от «двойной пещеры», где он похоронил дочь двоюродного своего брата и свою сестру во браке, и где вскоре он сам, Ицхак, неугодная жертва, был после долгой и богатой историями жизни погребен и оплакан своими сыновьями Иаковом и Исавом, когда Иаков, подавленный, пришел туда из Вефиля после смерти Рахили, с маленьким ее убийцей, новорожденным Бен-Они, Вениамином…

Сбор винограда

Четыре раза зеленели, а затем и желтели пшеница и ячмень на нивах Шекема, четыре раза цвели, а затем увядали анемоны долины, и восемь раз уже люди Иакова стригли овец (крепчал молодняк Иакова, отращивал руно в мгновение ока и дважды в году щедро приносил ему шерсть: и в месяце сиване, и в осеннем месяце тишри). И вот однажды жители Шекема собирали виноград и справляли праздник винограда в городе и на ступенчатых склонах Гаризима, и было это в полнолунье осеннего равноденствия, когда год обновлялся. В городе и долине только и знали, что веселились, устраивали шумные шествия и воздавали хвалу урожаю, ведь виноград они уже с пеньем собрали, уже голышом растоптали его в давильне, вырубленной в скале, отчего ноги их делались пурпурными по самые бедра, а сладкая кровь текла по желобу в чан, и они, стоя возле него на коленях, со смехом наполняли ею кувшины и бурдюки, чтобы она забродила. И вот теперь, когда вино было разлито, они справляли семидневный праздник, приносили в жертву десятую часть первин, и от крупного, и от мелкого скота, и от зерна, и от масла, и от виноградного сусла, пили и ели, приводили на поклон к Адонаи, великому баалу, в дом к нему, меньших богов, и процессией, под бой барабанов и звон кимвалов, носили его самого в ладье на плечах по стране, чтобы он снова благословил гору

и поле. А на середину праздника, на третий его день, они назначили пляски и хороводы перед городом, в присутствии княжеского двора и всякого, кто пожелает прийти, не исключая детей и женщин. И вот прибыли сюда старик Еммор, которого принесли качалочники, и вертлявый Сихем, тоже в носилках, со всем персоналом жен и скопцов, с чиновниками, купцами и челядью, и из шатрового своего стана пришел сюда в сопровождении жен, сыновей и рабов Иаков, и все они собрались и уселись у того места, где раздалась музыка, и близ того, где должен был начаться хороводный пляс – под масличными деревьями, в долине, где открывался широкий простор, плавно изгибалась каменистая сверху, но приятная в нижней своей части Гора Благословенья, а в ущелье Горы Проклятья, щипая сухую траву, бродили козы. Вечер был синий и теплый, закатный свет украшал всех и вся и покрывал позолотой тела танцовщиц, которые, в вышитых повязках на бедрах и волосах, с насурьмленными ресницами и удлиненными краской глазами, плясали перед музыкантами, поводя животом и отворачивая голову от гремевшего под их пальцами бубна. Музыканты, сидя, играли на лирах и лютнях и оглашали окрестность пронзительным плачем коротких флейт. Другие, находившиеся позади игравших, только отбивали, хлопая в ладоши, такт, а третьи пели, теребя при этом кожу на горле рукой, чтобы звуки получались сдавленные и трогательные. Мужчины тоже выходили плясать; они были бородатые и нагие, с подвязанными бычьими хвостами, и прыгали, как козлы, ловя девушек, которые, извиваясь, убегали от них. Еще играли в мяч, а еще девушки ловко жонглировали несколькими шарами, скрестив руки или сидя на бедре у подружки. Всем было очень весело, и горожанам, и жителям шатров, и хотя Иаков не любил трезвона и шума, потому что они его оглушали и рассеивали мысли о боге, он ради остальных делал довольное лицо и из вежливости иногда отбивал такт хлопками.

Вот тогда-то княжеский сын Сихем и увидел Дину, тринадцатилетнюю дочь иврима, а увидев, пожелал ее так, что больше уже не переставал желать ее. Она сидела со своей матерью Лией на циновке, сразу возле музыкантов, напротив сиденья Сихема, и он неотрывно глядел на нее смущенными глазами. Она не была красива, красив не был никто из детей Лии, но какое-то очарование исходило в то время от ее молодости, сладостное, вязкое, словно бы тягучее, как финиковый мед, и, глядя на Дину, Сихем уподобился вскоре мухе на липучке: он повел лапками, чтобы узнать, сумеет ли он освободиться, если пожелает, хотя всерьез этого не желал, потому что слишком уж сладкой была липучка, но испугался до смерти, поняв, что освободиться не сумеет и при желанье, и заерзал на походном своем сиденьице, то и дело заливаясь румянцем и снова бледнея. У нее было смуглое личико с черной челкой на лбу, под головным покрывалом, продолговатые, сумрачно-томные, клейкой черноты глаза, которые от непрестанных взглядов влюбившегося невольно начинали косить, широконоздрый нос, в перепонке которого висело золотое кольцо, широкий, красный и пухлый рот, скорбно изогнутый, и почти не было подбородка. Ее непрепоясанное платье из синей и красной шерсти прикрывало только одно плечо, а другое, голое, было очаровательно узко, оно было самим очарованием – причем дело не улучшалось, а лишь ухудшалось, когда она поднимала со стороны этого плеча руку и заносила ее за голову, так что Сихем видел влажные завитки в маленьких ямках ее подмышек, а сквозь рубашку и платье проступали очертанья ее изящно твердых грудей. Очень опасны были и ее смуглые ножки с медными пряжками на лодыжках и мягкими золотыми колечками на всех пальцах, кроме больших. Но, пожалуй, опасней всего были маленькие, золотисто-коричневые руки с накрашенными ногтями, когда они играли у ее лона, тоже в кольцах, детские и в то же время умные, и стоило Сихему подумать, как это было бы, если бы эти руки ласкали его в постели, у него кружилась голова и спирало дыханье.

А о том, чтобы лечь с ней в постель, он подумал сразу же и ни о чем другом больше не думал. Поговорить с самой Диной и польстить ей иначе, чем взглядами, обычай ему не позволил. Но уже на обратном пути и затем дома он стал твердить отцу, что не может жить и зачахнет без этой хабирянки и чтобы старик Еммор отправился и купил ее в жены для его постели,

а не то он, Сихем, вскоре зачахнет. Что тут было делать подагрику, как не велеть двум рабам отнести себя к волосяному дому Иакова, как не склониться перед ним, назвать его братом и, рассказав ему после всяких околичностей о жестокой сердечной страсти своего сына, посулить богатое вено, если отец Дины согласится на этот союз? Иаков был застигнут врасплох и озадачен. Это предложение вызвало у него двойственные чувства, смутило его. С житейской точки зрения оно было почетно, влекло за собой установление родственных отношений между его домом и домом местного князя и могло принести ему и его племени известную пользу. Новость эта взволновала его еще и как напоминание о далеких днях, о том, как он сам сватал Рахиль у беса Лавана и как тот сначала медлил исполнить, а потом использовал и обманул это его желанье. Теперь он сам оказался в роли Лавана, теперь его дочери желал юноша, и он, Иаков, не хотел ни в каком отношении вести себя, как Лаван. С другой стороны, он сильно сомневался в высшей дозволенности этого союза. Он никогда до сих пор особенно не пекся о девчушке Дине, так как чувства его принадлежали восхитительному Иосифу, и никогда не получал свыше никаких указаний на ее счет. Но она была как-никак его единственной дочерью, а притязания княжеского сына повысили ее достоинство в его, Иакова, глазах, и ему показалось опасным растрачивать перед богом это не пользовавшееся особенным вниманием имущество. Разве не велел Авраам Елиезеру положить руку свою под его стегно в том, что не возьмет Ицхаку, истинному сыну, жены из дочерей ханаанеев, среди которых он, Авраам, жил, а добудет жену на востоке, на родине его и из его родни? Разве Ицхак не передал этого запрета ему самому, праведному своему сыну, разве не сказал он: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских»? Дина была всего лишь девочкой, и притом дочерью неправедной и, конечно, вопрос о том, с кем она вступит в брак, не был так важен, как вопрос о браке благословенных. Но дорожить собой перед богом все-таки следовало.

Условие

Иаков позвал на совет десятерых своих сыновей, вплоть до Завулона, и они все сидели перед Еммором, поднимали руки и качали головами. Старшие, которые задавали тон, были не такими людьми, чтобы сразу принять это предложение, как будто о лучшем они и мечтать не могли. Без всяких объяснений между собой они сходились на том, что нужно не спеша обдумать, как лучше поступить при таких обстоятельствах. Дину? Их сестру? Дочь Лии, только что достигшую зрелости, прелестную, бесценную Дину? За Сихема, сына Еммора? Тут, само собой разумеется, было над чем подумать. Они испросили себе срок на размышление. Они сделали это потому, что вообще любили заключать сделки не торопясь, однако у Симеона и Левия были еще свои особые задние мысли и смутные надежды. Ведь они отнюдь не отказались от старых своих замыслов, и то, чего еще не повлек за собой запрет на водоемы, могло, так думали они, приспеть благодаря Сихемовым желаньям и домогательствам.

Итак, три дня на размышление. И Еммора, несколько обиженного, унесли домой. По истеченье же этого срока Сихем сам приехал на белом осле в стан Иакова, чтобы довести до конца свое дело, как того потребовал от него потерявший охоту продолжать переговоры отец и как то вполне отвечало его, Сихемову, нетерпенью. Он вел дело не по-торгашески, совершенно не кривя душой и не скрывая, что буквально сгорает от желания обладать девочкой Диной.

– Просите чего хотите! – сказал он. – Просите не стесняясь – дары и вено! Я Сихем, княжеский сын, меня великолепно содержат в отцовском доме, и, клянусь баалом, я дам, что ни скажете мне!

Тогда они сказали ему свое условие, выполнить которое надлежало до продолжения каких бы то ни было переговоров, условие, на котором они тем временем успели сойтись.

Тут нужно быть очень внимательным к истинной последовательности событий, отличной от той, в какой их позднее располагали и передавали пастухи в «прекрасноловных беседах». Если верить пастухам, то Сихем сделал свое злое дело сразу и неожиданно и вызвал коварный ответный удар; в действительности же он решился действовать явочным порядком только тогда, когда люди Иакова несправедливо с ним поступили и он увидел, что его водят за нос, а то и вообще обманули. Итак, они сказали ему, чтобы прежде всего он обрезался. Это необходимо: таковы уж их убеждения, в их глазах было бы мерзостью и позором отдать свою дочь и сестру человеку необрезанному. Поставить это условие посоветовали отцу братья, и, довольный оттяжкой, которую оно сулило, Иаков не мог не согласиться с ним и по существу, хотя он и удивился такому благочестию сыновей.

Сихем прыснул со смеху и тут же извинился, прикрыв рот руками. И это все? – спросил он. – Больше ничего им не нужно? Ну, знаете! Да за то, чтобы обладать Диной, он готов отдать глаз, правую руку, а не то что такую безразличную часть тела, как крайняя плоть! Сутех свидетель, это действительно сущий пустяк! Его друг Бесет тоже обрезан, и его, Сихема, никогда это не смущало. Ни одна из маленьких сестер Сихема в доме игр и утех не посетует на такую нехватку. Можно считать, что дело сделано – и притом руками одного искусного во врачеванье священника из храма всевышнего! Как только тело его выздоровеет, он вернется! И он выбежал из шатра, делая знаки своим рабам, чтобы те поскорее подали ему белого осла.

Когда он снова явился, явился как можно скорее, неделю спустя, почти больной, еще не совсем оправившись от своего жертвоприношенья, но сияя надеждой, оказалось, что глава семьи в отъезде. Иаков уклонился от встречи с Сихемом. Он предоставил действовать сыновьям. Получалось, что он все-таки целиком принял роль беса Лавана, и он предпочел сыграть ее заочно. И что же сказали сыновья бедному Сихему в ответ на его бодрое сообщенье, что условие выполнено, что это не такой пустяк, как ему представлялось, а дело довольно тягостное, но что дело это все-таки сделано и теперь он ждет сладчайшей награды? Сделано-то сделано, сказали они. Очень может быть, что и сделано, они охотно верят. Но сделано не в надлежащем духе, без высшего смысла и пониманья, поверхностно, без значенья. Сделано? Возможно. Но сделано только ради брака с Диной, с женщиной, а не в смысле бракосочетания с «Ним». К тому же сделано, вероятно, не каменным ножом, как то необходимо, а металлическим, что уже само по себе ставит все под вопрос или даже сводит на нет. А кроме того, у княжеского сына Сихема есть ведь уже главная сестра во браке, есть ведь уже первая и праведная, Рехума, хевитянка, так что Дина, дочь Иакова, стала бы только одной из наложниц, а об этом нечего и думать.

Сихем заметался. Откуда они знают, вскричал он, в каком духе и с каким значеньем сделал он это неприятное дело, и почему они заговорили о каменном ноже только теперь, хотя обязаны были сказать об этом сразу? Наложница? Но ведь сам царь Митанни отдал свою дочь, Гулихипу по имени, замуж за фараона и отправил ее к нему с великой пышностью не в качестве царицы стран, царица стран – богиня Тейе, а в качестве побочной жены, и уж если сам царь Шутарна?..

Ну что ж, отвечали братья, то были Шутарна и Гулихипа. А сейчас речь идет о Дине, дочери Иакова, князя от бога, семени Авраамова, и уж она-то не может быть наложницей при шекемском дворе, до этого Сихем, подумав как следует, дойдет и своим умом.

И это Сихем должен считать последним их словом?

Они пожали плечами, развели руками. Не могут ли они порадовать его подарком, скажем, двумя-тремя барашками?

Тут его терпение лопнуло. Он вынес много неприятного и тяжкого из-за своего желания. Священник из храма оказался вовсе не таким искусником, каким он себя выставлял, и не избавил сына Еммора ни от воспаления, ни от лихорадки, ни от жестоких болей. И вот награда за все? Он выкрикнул проклятие, сводившееся к пожеланию, чтобы сыновья Иакова сделались

столь же невесомы, как свет и воздух, проклятие, которое те быстрыми и ловкими движеньями постарались отвести от себя, – и бросился прочь. Четыре дня спустя исчезла Дина.

Похищение

«Знаешь ли ты об этом?» Надо соблюдать последовательность! Сихем был только распутным юнцом, падким на лакомства, не приученным отказываться от каких бы то ни было плотских желаний. Но это не основание всегда к величайшей его невыгоде принимать на веру каждое слово некоторых тенденциозных пастушеских сказок. Если история эта оставила на озабоченном лице Иакова такие глубокие следы, то как раз потому, что, хотя он первый же рассказал ее сокращенно и приукрашенно, веря в нее в таком виде, покуда рассказывал, – втайне Иаков отлично знал, кто первый помышлял о разбое и о насилии, кто с самого начала к этому и клонил, знал, что сын Еммора не просто похитил Дину, а начал с честного сватовства и, лишь будучи обманут, счел себя вправе сделать свое счастье основой дальнейших переговоров. Одним словом, Дина была украдена, похищена. Среди бела дня, в открытом поле и даже на виду у ее родни, к ней подкрались несколько горожан, когда она играла с ягнятами, заткнули ей рот платком, вскинули ее на верблюда и успели далеко продвинуться с нею к городу, прежде чем Израиль оседлал для погони верховых животных. Дина исчезла, запертая в доме игр и утех, где ее окружали, впрочем, неведомые ей дотоле городские удобства, и Сихем поспешно лег с ней в постель, против чего она даже не могла убедительно возразить. Она была существо серое, покорное, без собственного мненья и безответное. То, что с нею произошло, когда это произошло самым явным и энергичным образом, она приняла как нечто непреложное и естественное. Кроме того, Сихем ведь не причинил ей никакого зла, напротив, да и остальные его сестрички, не исключая Рехумы, первой и праведной, были приветливы с ней.

Но братья! Но Симеон и Левий, особенно они! Их ярость, казалось, не знала границ – Иакова, смущенного и подавленного, они просто измучили. Обесчещена, изнасилована, гнусно растлена – и кто? Их сестра, черная горлинка, непорочнейшая, единственная, Авраамово семя! Они изломали свои нагрудные украшенья, изорвали свое платье, надели мешки, рвали на себе волосы и бороды, выли, делали себе на лице и теле длинные порезы, придававшие им ужасный вид. Они падали на живот, били кулаками землю и клялись, что не будут ни есть, ни испражняться до тех пор, пока не спасут Дину от похоти содомитов и не превратят в пустыню место, где над ней надругались. Месть, месть, нападение, смертоубийство, кровопролитье – только об этом они и твердили. Потрясенному, озадаченному, мучительно растерянному Иакову, который, впрочем, чувствовал, что вел себя по-лавановски, и прекрасно понимал, что братья ждут скорого исполненья первоначальных своих желаний, было трудно сдерживать их, не рискуя получить упрек в недостатке чувства чести и отцовского чувства. Он тоже до известной степени участвовал в демонстрациях скорбной их ярости, облачившись в грязное платье и немного растрепав себе волосы, но потом постарался объяснить им, сколь мало толку в насильственном освобождении Дины, которое ведь не решит, а только поставит вопрос о том, так быть с изнасилованной и опозоренной. После того как она побывала в руках Сихема, ее возвращение, если хорошенько подумать, нежелательно, и гораздо мудрее обуздать свое горе и подождать действовать – на разумность такого поведения указывает ему, Иакову, как он считает, и печень заколотой для гаданья овцы. Несомненно, что при тех взаимоотношениях, какие сложились на основе договора между городом и племенем, Сихем вскоре снова даст знать о себе, обратится к ним с новыми предложениями и предоставит возможность придать этому безобразному делу если не прекрасный, то хоть мало-мальски пристойный вид.

И вот, к удивлению самого Иакова, сыновья неожиданно умолкли и согласились подождать княжеского посольства. Их уступчивость сразу встревожила его чуть ли не больше, чем их неистовство, – что крылось за нею? Он с тревогой следил за ними, но в их совете он

не участвовал и о новом их решении узнал не раньше посыльных Сихема, каковые, в точности как он ожидал, явились к ним через несколько дней, чтобы вручить написанное на вавилонском языке и потребовавшее нескольких глиняных дощечек письмо, по форме весьма учтивое, а по своему смыслу тоже очень любезное и предупредительное. Оно гласило:

«Иакову, сыну Ицхака, князя от бога, отцу моему и господину, которого я люблю и чьей любовью донельзя дорожу. Говорит Сихем, сын Еммора, Твой зять, который Тебя любит, княжеский наследник, которого народ приветствует криками ликованья! Я здоров. Да будешь здоров и Ты! Да пребудут в отменном здоровье также Твои жены, Твои сыновья, Твои домочадцы, Твой крупный и мелкий скот и все, что Тебе принадлежит! Некогда отец мой Еммор учредил и скрепил с Тобой, другим моим отцом, договор о дружбе, и горячая дружба между нами и вами длилась четыре кругооборота, во время которых я непрестанно думал: пусть боги устроят, чтобы все было так, как теперь, а не иначе, то есть чтобы, по воле моего бога Баалберита и Твоего бога Эль-эльона, которые суть почти один и тот же бог и отличаются друг от друга лишь мелочами, в отношении теплоты нашей дружбы все обстояло во веки веков так, как теперь!

Когда же глаза мои увидели дочь Твою Дину, дитя Лии, дочери Левона, халдеянина, я от всей души пожелал, чтобы наша дружба, без ущерба для своей бесконечной длительности, стала в тысячу тысяч раз крепче. Ибо Дочь Твоя подобна молодой пальме у воды и цвету гранатовой яблони в саду, и сердце мое дрожит от вожделения к ней, и я понял, что без нее мне и дыханье не в радость. Тогда, как Ты знаешь, князь города Еммор, которого народ приветствует криками ликованья, прибыл к Тебе, чтобы поговорить со своим братом и посоветоваться с моими братьями, Твоими сыновьями, и ушел обнадеженный. И когда я пришел сам, чтобы посвататься к Дине, дочери Твоей, и попросить у Вас воздуха, которым я мог бы дышать, Вы сказали: «Дорогой, Ты должен обрезаться, прежде чем Дина станет Твоей, иначе это будет для нас мерзость перед нашим богом». И я не ранил обидой сердце отца моего и братьев моих, а ответил по-дружески: «Я исполню Ваше желанье». И я радовался сверх меры и велел Яраху, писцу книги божьей, поступить со мною так, как Вы наказали, и натерпелся такой боли под его руками и после, что у меня лились слезы, и все ради Дины. Когда же я пришел к Вам снова, оказалось, что все напрасно. Тогда, поскольку условие было выполнено, Дина, дитя Твое, пришла ко мне, чтобы я показал ей любовь на своей постели – к величайшему своему и не меньшему ее удовольствию, как я узнал из ее собственных уст. Но чтобы из-за этого не вышло распри между Твоим и моим богом, пусть отец мой поспешит назначить цену и условия моего брака с милой моему сердцу Диной, дабы устроить великий праздник в стенах Шекема и сыграть свадьбу всем вместе, со смехом и песнями. И на память об этом дне и вечной дружбе между Шекемом и Израилем отец мой Еммор велит отчеканить триста каменных жуков с моим именем и именем Дины, моей супруги. Дано в городе в двадцать пятый день месяца сбора урожая. Мир и здоровье получателю!»

Подражание

Таково было это письмо. Иаков и его сыновья изучали его поодаль от шекемских посланцев, и когда Иаков взглянул на сыновей, те сказали ему, как они положили вести себя при таком обороте дела, и он удивился, но не мог не согласиться по существу с их предложением; он понимал, что выполнение нового условия, ими намеченного, будет, во-первых, важной религиозной победой, а во-вторых, удовлетворительным искуплением учиненного злодеянья. Поэтому, когда они снова вышли к посыльным, он предоставил слово обиженным братьям Дины, и слово взял Дан, который и сообщил посольству принятое решение. Они, сказал он, богаты милостью божьей и не придают большого значения размерам выкупа за Дину, которую Сихем очень удачно сравнил с пальмой и с душистым гранатовым цветом. Это пусть Еммор и Сихем определят сами, как велит им их честь. Но Дина вовсе не «пришла» к Сихему, как тот пожелал

выразиться, а была украдена, чем создано новое положение, с которым они, братья, просто так не помирятся. Помирятся они с ним лишь при условии, что вслед за похвально обрезавшимся Сихемом обрежется весь мужской пол в Шекеме, старики, мужчины и мальчики, причем не далее как через три дня и непременно каменными ножами. Когда это произойдет, можно будет и в самом деле сыграть свадьбу и устроить в Шекеме великий праздник со смехом и гамом.

Условие это казалось нескромным, но в то же время выполнить его было легко, и посыльные сразу выразили свою уверенность в том, что их владыка Еммор не преминет отдать необходимые распоряжения. Но едва они удалились, у Иакова внезапно возникли такие ужасные догадки насчет смысла и цели этого притворно благочестивого требования, что внутренности у него перевернулись от страха и он предпочел бы вернуть горожан. Он не верил ни в то, что братья забыли свои старые, первоначальные желанья, ни в то, что они отказались от мести за похищенье и позор Дины; а сопоставив это с недавней их внезапной уступчивостью и с высказанным ими теперь требованием и вспомнив, какие выражения приняли их изрезанные в знак скорби лица, когда их оратор упомянул о свадьбе и о праздничном шуме, которые будут устроены в Шекеме по выполнении условия, он подивился своей несообразительности, тому, что не сразу, не тогда же, когда они говорили, увидел их черные задние мысли.

Радость подражания и преемственности – вот что его ослепило. Он вспомнил Авраама, – как тот по велению господа и для союза с ним обрезал однажды весь свой дом, Измаила и всех рабов, рожденных в доме или купленных у иноплеменников, весь мужской пол своего дома, он, Иаков, был уверен, что и сыновья, выставляя свое требование, опирались на эту историю, – да, опирались-то они на нее, замысел пришел к ним оттуда, но как намеревались они довести его до конца! Он повторял про себя рассказ о том, как на третий день, когда Авраам был в болезни, господь пришел проведать его. Бог стоял перед хижиной, и Елиезер не заметил его. Но Авраам-то заметил и настоятельно пригласил войти. Однако, видя, что Авраам перевязывает рану свою, господь сказал: «Не подобает мне здесь останавливаться». Вот как кротко отнесся господь к священносрамному недугу Авраама, – ну а они, какую кротость собирались они явить горожанам на третий день, когда те будут в болезни? Иаков содрогнулся при мысли о таком подражанье, и он содрогнулся снова, увидев их лица, когда из города сообщили, что условие принято без раздумий и что точно в срок, на третий день от вчерашнего, будет принесена эта всеобщая жертва. Ему не раз хотелось воздеть к ним руки с мольбой; но он боялся силы их возмущенной братской гордости, боялся их обоснованного права на месть и понимал, что затея, которую он мог некогда подавить торжественным своим запрещеньем, теперешними обстоятельствами сильно подкреплена. Был ли он – если спросить осторожно – даже чуть-чуть благодарен им втайне за то, что они не посвящали его в свои замыслы, не впутывали его в них, так что при желании он мог ни о чем не знать или даже ни о чем не догадываться и предоставить случиться тому, что случиться должно было? Разве не возгласил в Вефиле под звуки арф богвседержитель, что он, Иаков, овладеет воротами, воротами врагов своих, а не значило ли это, что, несмотря на личное его миролюбие, завоевания, война и разбой все-таки написаны ему на роду?.. Он перестал спать от страха, тревоги и сокровеннейшей гордости коварным мужеством своих отпрысков. Не спал он и в ту страшную ночь, третью по истечении срока, когда, закутавшись в плащ, лежал в шатре и с ужасом внимал глухому гулу вооруженного приступа…

Побоище

Мы подходим к концу правдивого нашего изложенья шекемского эпизода, дававшего позднее столько поводов для песен и прикрашенных сказаний, – прикрашенных в израильском понимании, в отношении последовательности приведших к резне событий, но вовсе не в отношении самой резни – тут прикрашивать было нечего, и на ужасных ее подробно-

стях в прекрасноловных беседах настаивали с каким-то даже щегольством и хвастовством. Благодаря кощунственной своей хитрости люди Иакова, численностью значительно уступавшие горожанам, ибо нападающих было всего человек пятьдесят, справлялись с Шекемом довольно легко – и при перелезании через стену, которая почти не охранялась и на которую они, пока еще молча, взобрались с помощью веревочных и приставных лестниц, и во время суматохи, которую они затем, перестав вдруг таиться, учинили внутри города, к полной растерянности поневоле нерасторопных жителей. Все шекемцы мужского пола, от мала до велика, не исключая и большей части военного гарнизона, томились лихорадкой, страдали и «перевязывали рану свою». Люди же племени иврим, здоровые телом и морально сплоченные девизом «Дина!», который они то и дело выкликали во время своей кровавой работы, неистовствовали как львы, они казались вездесущими и, с самого начала вселив в души горожан представление о неотвратимой каре, не встречали почти никакого сопротивленья. Особенно главари, Симеон и Левий, вызывали своим криком, заученным, переворачивавшим внутренности бычьим ревом тот страх божий, жертвы которого видели средство уйти от смерти разве что в ошалелом бегстве, но ни в коем случае не в борьбе. Горожане кричали: «Горе! Это не люди! Среди нас Сутех! Во все их члены вселился многославный баал!» И, пускаясь наутек, погибали под ударами дубинок. Огнем и мечом, в буквальном смысле слова, вершили расправу евреи; город, крепость и храм дымились, улицы и дома были залиты кровью. Только здоровых и крепких молодых людей брали в плен, остальных убивали, и если при этом жестокость убийц не ограничивалась простым умерщвленьем, то в оправдание их нужно учесть, что в своих действиях они руководствовались поэтическими представлениями не в меньшей мере, чем те несчастные; им виделась борьба с драконом, победа Мардука над змеем хаоса Тиаматом, и с этим было связано отрезание «подлежавших предъявлению» членов – увечье, которым они часто сопровождали убийство, отдавая дань мифу. К концу этого побоища, не продолжавшегося и двух часов, княжеский сын Сихем торчал вниз головой в сточной трубе своей купальни, изувеченный самым отвратительным образом, да и труп Усера-ка-Бастета, лежавший в растерзанном цветочном ожерелье прямо на улице, в луже крови, тоже был в большой мере неполным, что с точки зрения его родной веры имело особую важность. Что касается старика Еммора, то он просто умер от ужаса. Дина, этот ничтожно-безвинный повод такой беды, находилась в руках своих соплеменников.

Грабеж длился еще долго. Старая мечта братьев сбылась: они могли потешить сердце разбоем, победителям досталась превосходная добыча – весьма и весьма значительное богатство города, так что их возвращение домой, на исходе последней ночной стражи, с пленными, которых вели на привязи, с большим грузом золотых жертвенных чаш и кувшинов, мешков с кольцами, обручами для волос, поясами, пряжками и бусами, изящной домашней утвари из серебра, янтаря, фаянса, алебастра, корналина, слоновой кости, не говоря уж об обилии плодов земледелия и всевозможных припасов, льна, масла, муки мелкого помола и вина, – превратилось в затяжной триумф. Иаков не вышел из шатра, когда они прибыли. Ночью он долго занимал свое беспокойство искупительным жертвоприношеньем бескумирному богу под священными деревами стана, окропляя камень кровью молочного ягненка и сжигая жир с благовониями и пряностями. Теперь, когда сыновья, довольные собой, еще не остывшие, явились к нему со столь мерзостно возвращенной Диной, он, закутавшись, лежал ничком и долго не соглашался даже взглянуть ни на нее, злосчастную, ни на них, изуверов.

– Прочь! – сделал он знак. – Болваны проклятые!..

Они упрямо стояли на месте, надув губы.

– Разве можно было, – спросил один из них, – поступить с нашей сестрой, как с блудницей? Пойми, мы омыли душу свою. Вот дитя Лии. Оно отомщено семидесятисемикратно.

И так как он по-прежнему молчал и не открывал лица своего:

– Пусть господин наш поглядит на добро, что снаружи. И это еще не все, ибо мы оставили нескольких человек, чтобы они собрали в поле стада горожан и привели их к шатрам Израиля.

Он вскочил и занес над ними сжатые кулаки, и они попятились.

– Будь проклят ваш гнев, – закричал он изо всей силы, – ибо он жесток, и ярость ваша, ибо она свирепа! Несчастные, что вы со мной сделали, ведь я теперь смержу перед жителями этой земли, как падаль, к которой слетаются мухи. А что, если они теперь соберутся, чтобы отомстить нам, что тогда? Нас жалкая горстка. Они побьют нас и истребят, меня, и мой дом, и Авраамово благословение, которое вы должны нести потомкам, в грядущие времена, и все, что создано, пойдет прахом! Слепцы! Они идут в город, убивают больных, добывают нам богатство на миг, и нет у них ума подумать о будущем, о завете, об обетовании!

Они только и делали, что надували губы. Они только и знали, что повторяли:

– Разве мы должны были поступить с нашей сестрой, как с блудницей?

– Да! – крикнул он вне себя, заставив их ужаснуться. – Лучше так, чем ставить под угрозу жизнь и обетование! Ты беременна? – крикнул он Дине, которая униженно притаилась на полу.

– Откуда мне знать уже? – завыла она.

– Ребенку не жить, – отрезал он, и она завыла опять.

– Израиль снимается с места со всем своим достоянием, – сказал он спокойно, – и уходит с богатствами и стадами, которые вы добыли мечом в отместку за Дину. Он не останется на месте этих ужасов. У меня было ночью видение, и господь сказал мне во сне: «Встань и пойди в Вефиль!» Долой отсюда! Укладывать вещи!

Видение и наказ ему действительно были, были тогда, когда он, после ночной жертвы, в то время как сыновья грабили город, задремал на постели. То было разумное видение, оно пришло из глубины его сердца; ибо прибежище Луз, которое он так хорошо знал, обладало для него большой притягательной силой при таких обстоятельствах, и, уходя туда, он как бы спешил припасть к стопам вседержителя бога. Ведь беглецы, спасшиеся от кровавой свадьбы, направились в разные окрестные города, чтобы сообщить там о судьбе своего, а кроме того, как раз в это время до города Амуна дошли наконец некие письма, изготовленные отдельными главами и пастырями городов Ханаана и Еммора, и письма эти пришлось, к сожалению, представить Гору, во дворце, священному его величеству Аменхотепу Третьему, хотя тогда этот бог был не только изнурен одним из часто допекавших его зубных нарывов, но и настолько поглощен строительством своего собственного храма смерти на западе, что просто не мог уделить вникания таким досадным известиям из горемычной страны Аму, как «потеря городов царя» и «завоевание страны фараона хабирами, грабящими все страны царя» (ибо именно это говорилось в письмах глав и пастырей). А потому эти документы, показавшиеся при дворе к тому же из-за их плохого вавилонского языка довольно смешными, были сданы в архив раньше, чем в уме фараона успели созреть решенья о мерах против названных разбойников, да и вообще люди Иакова могли считать, что им повезло. Окрестные города, повергнутые в страх божий необычайной дикостью их поведенья, ничего против них не предприняли, и после всеобщего очищения, после того как он собрал и собственноручно зарыл под священными деревами многочисленных идолов, проникших за эти четыре года в его стан, Иаков, отец, мог без помех тронуться в путь с людьми и кладью и, удаляясь от страшного места Сихема, над которым кружили коршуны, податься с богатством вниз в Вефиль по торным дорогам.

Дина и мать ее Лия ехали вдвоем на умном и сильном верблюде. По обе стороны горба висели они в украшенных корзинах, под противосолнечным, натянутым на тростниковые шесты покрывалом, которое Дина почти все время целиком опускала, так что сидела в темноте. Она была беременна. Ребенок, которого она, когда пришел ее час, родила, был, по решению мужчин, подкинут. Сама она высохла от горя задолго до срока. В пятнадцать лет злосчастное ее личико было похоже на лицо старухи.

Раздел четвертый
Бегство

Древнее блеянье

Тягостные истории! Иаков, отец, был так же богат и почетно отягощен ими, как имуществом и собственностью, – и новыми, свежепрошедшими, и старыми, и стариннейшими, историями и историей.

История – это то, что произошло и что продолжает происходить во времени. А тем самым она является наслоением, напластованием под почвой, на которой мы стоим, и чем глубже уходят корни нашего бытия в бесконечные пласты того, что находится вне и ниже плотских границ нашего «я», но это «я» все-таки определяет собой и питает, отчего в менее точные часы мы порой говорим об этих пластах в первом лице, словно они составляют часть нашей плоти, – тем больше смысла в нашей жизни и тем почтеннее душа нашей плоти.

Когда Иаков вернулся в Хеврон, или, как его еще называли, четырехградие, когда он вернулся к дереву вразумления, посаженному и освященному Аврамом, – тем Авирамом или другим, неизвестно каким, – когда он воротился к отцовской хижине после самого тяжкого, о чем будет поведано в надлежащее время, – Исаак пошел на убыль и умер, Исаак, слепой и древний старик с наследственным этим именем, Ицхак, сын Авраама, и в священный час смерти, перед Иаковом и всеми, кто был рядом, он с жутковатой выспренностью и со сбивчивостью ясновидца говорил о «себе» как о неугодной жертве и о крови овна, как о его, истинного сына, собственной крови, пролитой, искупленья ради, за всех. А перед самым своим концом он с редкостным успехом заблеял овном, и одновременно бескровное лицо его приобрело поразительное сходство с физиономией этого животного, – вернее, вдруг обнаружилось, что сходство это существовало всегда, – и все в ужасе поспешили пасть ниц, чтобы не видеть, как сын превратится в овна, хотя он, заговорив снова, назвал овна отцом и богом.

– Заколоть надо бога, – бормотал он слова древней песни и, запрокинув голову, широко раскрыв пустые глаза и растопырив пальцы, продолжал бормотать, – чтобы все пировали, чтобы все ели мясо и пил и кровь заколотого овна, как сделали это некогда Авраам и он, отец и сын, которого заменило собой богоотчее это животное.

– Да, его закололи, – лопотал, хрипел и вещал Исаак, и никто не отваживался глядеть на него, – закололи отца и овна, вместо человека и сына, и мы ели. Но воистину, говорю вам, заколют человека и сына вместо животного и взамен бога, и вы снова будете есть.

Затем он еще раз очень похоже проблеял и скончался.

Они долго еще не отрывали лбов от земли, после того как он умолк, не зная, действительно ли он мертв и не будет больше вещать и блеять. Всем казалось, что у них перевернулись внутренности и нижнее становится верхним, так что их вот-вот вырвет; ибо в словах и повадке умирающего было что-то первобытно-непристойное, что-то мерзостно-древнее, священно-досвященное, таившееся под всеми наслоениями цивилизации в самых заброшенных, забытых и внеличных глубинах их души и тошнотворно поднятое теперь на поверхность кончиной Ицхака: непристойный призрак глубочайшей древности – животное, которое было богом, овен, который был богом-родоначальником племени, овен, чью божественную кровь они когда-то, в непристойные времена, проливали и высасывали, чтобы освежить свое животно-божественное племенное родство, – прежде чем пришел Он, бог из далекой дали, элохим, бог вездесущий, бог пустыни и лупы в зените, который, избрав их, отрезал связь с их первобытной природой, обручился с ними кольцом обрезанья и основал новое божественное начало во времени. Поэтому их мутило от овцеподобного вида умирающего Ицхака, от его блеяния; Иакова

тоже мутило. Но и тяжелой торжественности была полна его душа, когда он, босой, запыленный и остриженный, заботился теперь о похоронах, об обрядовых плачах и о чашах для жертвенных приношений умершему, – заботился вместе с Исавом, козлом-дударем, который прибыл с Козьих гор, чтобы проводить с ним отца в двойную пещеру, заливая слезами бороду и подвывая плакальщикам и плакальщицам «Хойадон!» с ребяческой несдержанностью. Они вместе зашили Ицхака с подтянутыми к подбородку коленями в баранью шкуру и отдали его так на съедение времени, которое пожирает своих детей, чтобы они не возносились над ним, но вынуждено вновь извергать их из своего чрева, чтобы они жили в старых и тех же самых историях теми же самыми детьми. (Ведь великан этот не замечает на ощупь, что умная мать отдает ему только похожий на камень предмет, завернутый в шкуру, а не дитя.) «Горе, господин умер!» – это не раз восклицалось над Ицхаком, неугодной жертвой, а он снова жил в своих историях и по праву рассказывал их от первого лица, ибо истории эти были его историями: отчасти потому, что его «я», расплываясь, уходило в прошлое и сливалось со своими прообразами, отчасти же потому, что прошлое могло в его плоти снова стать настоящим и, согласно установлению, вновь повториться. Так это и услыхали, так это и поняли Иаков и все, когда он, умирая, еще раз назвал себя неугодной жертвой: услыхали словно бы двойным слухом, а поняли просто – как мы и в самом деле слушаем двумя ушами, глядим двумя глазами, а слышим и видим что-то одно. К тому же Ицхак был древний старик, а говорил он о маленьком мальчике, которого чуть не закололи, и был ли им когда-то он сам или кто-то более ранний, знать это и думать об этом не стоило уже потому, что даже чужое жертвенное дитя не могло быть более чужим его старости и находиться в большей степени вне его, чем дитя, которым он некогда был.

Красный

Итак, задумчивой и тяжелой торжественности полна была душа Иакова в те дни, когда он хоронил с братом отца, ибо все истории встали перед ним вновь и обрели настоящее время в его духе, как некогда, следуя шаблонному прообразу, обретали его во плоти, и ему казалось, что он находится на какой-то прозрачной тверди, которая состоит из бесконечного множества уходящих в бездонную глубину слоев хрусталя, просвечиваемых горящими между ними светильниками, а он, Иаков, нынешний, находится наверху в историях своей плоти и наблюдает за Исавом, проклятым благодаря хитрости, который тоже, согласно своему шаблону, находится с ним вместе, будучи Едомом, Красным.

Этим словом фигура его определена, несомненно, безошибочно, – «несомненно» в известном смысле и «безошибочно» с оговоркой, ибо верность этого «определенья» есть верность лунного света, а в ней много обманчивого, дурачаще-двусмысленного, и довольствоваться ею со слегка углубленным задумчивостью простодушием нам, в отличие от действующих лиц нашей истории, не к лицу. Мы рассказали о том, как красношерстный Исав еще в юные годы, живя в Беэршиве, завязал и поддерживал связи со страной Едомом, с людьми Козьих гор, сеирских горных лесов, и о том, как позднее он совсем перешел к ним и к их богу Куцаху с чадами и домочадцами, с ханаанскими своими женами Адой, Оливемой и Васемафой, а также с их сыновьями и дочерьми. Значит, козий этот народ уже существовал на свете неведомо как давно, когда Исав, дядя Иосифа, прибился к нему, и если предание, то есть прошедшее через много поколений прекраснословие, закрепленное позднее в виде хроники, называет Исава «отцом едомитов», их, следовательно, родоначальником, и, так сказать, архикозлом, то верно это только магически-двусмысленной лунной верностью. Им Исав не был, этот Исав, лично он, – если даже прекраснословие и считало его таковым, как, при известных обстоятельствах, наверно, и он сам. Народ Едома был гораздо старше, чем дядя Иосифа, – мы повторно называем его дядей Иосифа, потому что куда вернее будет определить это лицо

по нисходящей, а не по восходящей линии родства, – народ Едома был неизмеримо старше, чем он: ведь с изначальностью того Белы, сына Беора, которого таблица называет первым царем Едома, дело обстоит явно не лучше, чем с перводержавием Мени Египетского, общеизвестного временного мыса. Итак, строго говоря, родоначальником Едома теперешний Исав не был; и если в песнопевческом порядке о нем настойчиво говорится: «Он Едом», а не: «Он был Едом», то настоящее время этого утверждения выбрано не случайно, оно служит вневременной типизации, поднимающейся над всякими индивидуальными чертами. В историческом и, следовательно, индивидуализирующем аспекте архикозлом козьегорцев был несравненно более древний Исав, по чьим следам теперешний Исав и шагал, – следам, надо прибавить, хорошо утоптанным и сильно исхоженным, которые, чтобы уж сказать все до конца, не были даже, наверно, собственно-ножными следами того, о ком прекраснословие могло бы по праву сказать: «Он был Едом».

Тут, однако, речь наша доходит до тайны, и наши путеводные указатели теряются в ней, – теряются в бесконечности прошлого, где любое начало оказывается на поверку мнимым пределом, а вовсе не окончательной целью пути, в бесконечности, таинственная природа которой основана на том, что она, бесконечность, не прямолинейна, а сферична. У прямой нет тайны. Тайна заключена в сфере. А сфера предполагает дополнение и соответствие, она представляет собой единство двух половин, она складывается из верхнего и нижнего, из небесного и земного полушарий, которые составляют целое таким образом, что все, что есть наверху, есть и внизу, а все, что происходит на земле, повторяется на небе и небесное вновь обретает себя в земном. Это взаимосоответствие двух половин, образующих вместе целое и сливающихся в округлость шара, равнозначно их взаимозамене, то есть вращению. Шар катится: такова природа шара. Верх становится низом, а низ верхом, если при таких условиях можно во всех случаях говорить о верхе и низе. Небесное и земное не только узнают себя друг в друге, – в силу сферического вращенья небесное превращается в земное, а земное в небесное, а из этого явствует, из этого следует та истина, что боги могут становиться людьми, а люди снова богами.

Это так же верно, как то, что растерзанный страдалец Ускри был некогда человеком, царем земли Египетской, а потом стал богом – с постоянной, правда, склонностью снова сделаться человеком, как ясно показывает уже сама форма существования египетских царей, каждый из которых был богом во плоти человека. Если же спросить, кем был Усир сначала и в первую очередь, богом или человеком, то на это ответить нельзя; у катящейся сферы нет начала. Так же ведь обстоит дело и с его братом Сетом, который, как нам давно известно, убил его и растерзал. У этого злодея была, по имеющимся сведениям, ослиная голова, кроме того, он отличался будто бы воинственным нравом, любил охоту и в Карнаке, близ города Аммона, учил царей Египта стрелять из лука. Другие называли его Тифоном, а еще раньше в его веденье отдали сухой и горячий ветер пустыни хамсин, солнечный зной и самый огонь, отчего он стал Баал Хаммоном, или богом палящей жары, и назывался у финикиян и евреев Молохом или Мелехом, быкообразным царем баалов, чье пламя пожирает детей и первенцев, тем самым Мелехом, которому Авраам чуть было не принес в жертву Ицхака. Кто скажет, что в начале начал или в конце концов Тифон-Сет, красный ловец, обитал на небе и был не кем иным, как Нергалом, семиименным врагом, Красным, огненною планетою Марсом? С таким же правом можно утверждать, что первоначально и в конечном счете он был человеком, Сетом, братом царя Усири, которого он свергнул с престола и убил, а уж потом сделался богом и звездой, всегда, правда, готовой снова стать человеком сообразно вращенью сферы. Он и то и другое попеременно, сразу – и божественная звезда, и человек, но ни то, ни другое в первую очередь. Поэтому к нему нельзя отнести никакое глагольное время, кроме как вневременное настоящее, заключающее в себе вращение сферы, и о нем по праву всегда говорится: «Он Красный».

Но если стрелок Сет и огненная планета Нергал-Марс находятся в отношениях небесно-земной взаимообратимости, то совершенно ясно, что такие же отношения подвижного соот-

ветствия существуют между убитым Усиром и царственной планетой Мардуком, той, которую тоже приветствовали недавно черные глаза у колодца и бог которой назван также Юпитером-Зевсом. А о нем рассказывают, что своего отца Крона, того самого божественного великана, который пожирал собственных детей и лишь благодаря находчивости матери не сожрал также и Зевса, он, сын его, оскопил серпом и сбросил с престола, чтобы самому сесть царем на его место. Это важно для всякого, кто, познавая истину, не останавливается на полпути, ибо это явно означает, что Сет или Тифон был не первым цареубийцей, что уже и сам Усир был обязан своей властью убийству и что как царь он претерпел то, что совершил как Тифон. В том и состоит часть сферической тайны, что благодаря вращению шара цельность и однообразие характера уживаются с изменением характерной роли. Ты Тифон, покуда притязаешь на престол, вынашивая убийство; но после убийства ты царь, ты само величие успеха, а тифоновские шаблон и роль достаются другому. Многие утверждают, что оскопил и свергнул Крона не Зевс, а красный Тифон. Но это пустой спор, ведь при вращении все едино: Зевс – это Тифон, пока он не победил. Вращение распространяется, однако, и на взаимоотношение отца и сына; и не всегда сын закалывает отца: в любой миг роль жертвы может выпасть сыну, которого тогда, наоборот, закалывает отец. Тифона-Зевса, стало быть, Крон. Это хорошо знал пра-Аврам, собираясь принести в жертву красному Молоху единственного своего сына. Он явно держался того грустного мнения, что ему надлежит опираться на эту историю и выполнить эту схему. Но бог отверг его жертву…

Одно время Исав, дядя Иосифа, постоянно общался со своим собственным дядей Измаилом, изгнанным сводным братом Исаака, поразительно часто навещал его в преисподней его пустыне и строил с ним планы, о чудовищности которых мы еще услышим. Эта привязанность была, разумеется, не случайна, и, говоря о Красном, надо сказать и об Измаиле. Мать его звали Агарь, что значило «странница» и уже само по себе призывало прогнать ее в пустыню, чтобы имя ее оправдалось. Непосредственный повод к этому доставил, однако, Измаил, чьи преисподние склонности всегда были слишком очевидны, чтобы рассчитывать на длительное его пребывание на верхнем свету богоугодности. О нем написано, что он был «насмешник», но это не означает, что он был дерзок, – такой недостаток еще не сделал бы его непригодным для верхней сферы, – нет, слово «насмехаться» в его случае значит, по сути дела, «шутить», и однажды Аврам увидел «через окно», как Измаил весьма преисподним образом шутил со своим младшим единокровным братом, что было отнюдь не безопасно для истинного сына Ицхака, ибо Измаил был прекрасен, как закат в пустыне. Поэтому будущий отец множества испугался и нашел, что ситуация созрела для решительных мер. Отношения между Сарой и Агарью, которая некогда возгордилась своим материнством перед еще бесплодной первой женой и однажды уже бежала от ее ревности, были давно самыми скверными, и Сара все время добивалась изгнания египтянки и ее отпрыска, – добивалась не в последнюю очередь из-за неясности и спорности порядка наследования при наличии старшего сына от побочной жены и младшего от праведной: стоял вопрос, не является ли Измаил равноправным с Ицхаком, а то и вовсе первым по порядку наследником – ужасный для одержимой материнской любовью Сары и щекотливый для Авирама вопрос. Поэтому замеченный проступок Измаила пал на колебавшиеся весы Авраамовых решений последней гирей, и, дав кичливой Агари ее сына, а также немного воды и лепешек, праотец велел ей посмотреть белый свет и не возвращаться. А как же иначе? Неужели Ицхак, неугодная жертва, должен был в конце концов пасть все-таки жертвой огненного Тифона?

Вопрос этот нужно понять верно. Он звучит оскорбительно для Измаила, но по праву. Ибо нечто оскорбительное есть в самом Измаиле, и то, что он шел по нечистым следам и, так сказать, «имел опыт», неоспоримо. Достаточно чуть-чуть изменить первый слог его имени, чтобы стало видно, насколько оно высокомерно, и то, что в пустыне он стал таким искусным лучником, это тоже явно произвело впечатление на учителей, уподобивших его дикому

ослу, животному Тифона-Сета, убийцы, злого брата Усири. Да, он злодей, он Красный, и хотя Авраам выдворил его и защитил благословенного своего сыночка от огненно-беспутных его преследований, – когда Исаак излил семя в женское лоно, Красный вернулся снова, чтобы жить в своих историях рядом с угодным богу Иаковом, ибо Ревекка произвела на свет двух братьев, «душистую траву», и «колючий куст», красношерстного Исава, которого учители и знатоки поносили куда ожесточеннее, чем того заслуживала его обывательски-земная повадка. Они называют его змеей и сатаной, и еще кабаном, диким кабаном, чтобы изо всех сил намекнуть на вепря, который растерзал овчара и владыку в ливанских ущельях. Даже «чужим богом» называет его их ученая ярость, чтобы неуклюжее добродушие обывательской его повадки никого не ввело в заблужденье насчет того, чем он является в круговращении сферы.

Она вращается, и они бывают иной раз отцом и сыном, эти двое несходных, Красный и благословенный, и сын оскопляет отца или отец закалывает сына. Но иной раз – и никто не знает, кем они были сперва, – они бывают братьями, как Сет и Усир, как Каин и Авель, как Сим и Хам, и случается, что они втроем, как мы видим, образуют во плоти обе пары: с одной стороны, пару «отец – сын», а с другой стороны, пару «брат – брат». Измаил, дикий осел, стоит между Авраамом и Исааком. Для первого он сын с серпом, для второго – красный брат. Но разве Измаил хотел оскопить Авраама? Конечно, хотел. Ведь он готов был склонить Исаака к преисподней любви, а если бы Исаак не излил семени в женское лоно, то не было бы на свете Иакова и двенадцати его сыновей, и что стало бы тогда с обещаньем бесчисленного потомства и с именем Авраама, которое означает «отец множества»? А сейчас они существовали в реальности своей плоти как Иаков и Исав, и даже болван Исав знал примерно, какие за ним водятся свойства, – насколько же лучше знал это образованный и многоумный Иаков?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.